

**Я**

слышал о себе, что я сумасшедший. Не думаю.

Для очень важного дела мне нужна зимой живая бабочка. Не из теплиц, или зимних садов, или где их еще разводят. Нужна настоящая, которая летит на свет лампы, если летом на открытой веранде сядешь пить чай или пиво. Лучше чай, потому что на пиво слетаются жуки. Совсем нетрудно мне было бы изловить бабочку в июле, но сейчас январь. В воскресенье я пробовал побродить, захватив сачок, по Сокольникам, но заметил слишком уж большое непонимание в глазах встречаемых. Тогда-то я и услышал, как кто-то за спиной бросил мне вслед: «Сумасшедший».

Я быстро обернулся и посмотрел на него. Человек смутился. То-то!

Остается, значит, ночь. Остается лампа на окне, манящая бабочек в снегопад — именно в снегопад, в метельную погоду они и прилетают. Сейчас как раз пора снегопадов! Спать мне поэтому никак невозможно. Едва запорхает снег за окном, я тотчас открываю балконную дверь пошире (занавесок не держу — с ними неба не видно), а сам бегом на кухню. Там прилипаю лбом к стеклу, одну руку — на оконную ручку, чтоб без промедления распахнуть окно, в другой руке сачок. Если ветер нанесет бабочку, то или она втянется в

квартиру балконным мощным сквозняком, или я изловчусь поймать ее сачком. Вряд ли я выпаду из окна, потянувшись за танцующей в снегу бабочкой. Бессмысленно! Моя смерть без ее спасения бессмысленна.

До весны уж я бы сохранил ее. У меня приготовлено специальное место, отдельная бабочкина квартира для дорогой гостьи. Это пятилитровая ваза в виде рюмки — рюмка Гаргантюа. На день рождения (нет, когда книжка вышла) — мне подарили рюмку Гаргантюа. Для бабочки. Чтобы она попала как бы в лето, там, в рюмке, лежит настоящее душистое луговое сено. Три яблока и две груши. Раз в два дня кладу в рюмку букет цветов. Не ерунду, не орхидеи в пластиковом кубике, хотя те полгода стоят, а полевые цветики. Скромные цветы России! И дешевле!

Где их взять зимой? Вопрос! Знаю ответ!

Отдельно от снега она вряд ли прилетит. Хотя... В самый лютый, бесснежный мороз я две ночи подряд держал все настезь, и к утру на балконе порожке, обитом жезью, выросли три или четыре этакие серебряно-алмазные розы. Бабочки?! Как бы выпали из тех клубливых облаков, которые, если в сильный мороз открыть балкон, сноровисто перекатываются через порожек, будто они замерзли на улице и торопятся прилечь на теплый палас.

Алмазные бабочки! То снего-лед, но не бабочки. В процессе кристаллизации атмосферной влаги... Естественное явление, а не что.

Алмазные розы! Пошлость.

О моем здоровье прошу не беспокоиться.

На что оно мне? Оно само по себе никому не нужно, кроме бабочки. К тому же я невольно закалился на этих дежурствах с сачком. Еще есть очевидная польза от вдыхания запаха лугового сена — это продляет мой летний отдых.

Скоро уж исполню свою задачу: специально я поспорил с художником В.К., что он не нарисует мне цветную бабочку на белой простыне, чтоб была похожа. (Я-то знал, что он, вообще, похоже нарисует — от настоящей не отличишь, но на спор он бабочку лучше нарисует, чем не на спор. Похожее. Потому что ему придется бороться с материалом. Творческая задача! Его распалит. Не спи, не спи, художник!) Он нарисует, я ему отдам рюмку Гаргантюа — ему нужна «для натюрмортов». Ха! Ха! Гм. Знаем эти натюрморты. Пять литров. Это же батальное полотно студии Грекова!

А для бабочки у меня есть еще одна рюмка Гаргантюа. Семь литров!

Я повешу тогда простыню на балконе, и бабочка не ошибется. Сразу она поймет, где поджидают ее луговое сено, свежие фрукты и скромные цветы России!

В одном году (не так уж и давнем, но — до ловли бабочек) у меня решительно не задался летний отдых, без которого не бывает творчества. Сперва ведь должно быть лето, потом только — Болдинская осень, а уж на худой конец, на мой размер, хоть и не осень, но все же творческую непогодицу желательно бы. После лета.

Ни в какую республику бывшего Союза не хотел я ехать: ни к надменным прибалтам, ни к благородным армянам, ни к благородным азербайджанцам, ни к благородным грузинам. Ни к украинцам, благородство которых имеет ли аналоги в истории? Разве что Древний Рим, да и то... Куда там! Куда уж ему! Ни к благородным молдаванам, так как я с детства обижен ворами-цыганами, а их, слышно, в Молдавии много, а у нас

в Подмоскowie они теперь развели смертельный наркoбизнес. А в сказочных шелковых томных сладчайших мареводымных дынных пространных барханных бархатных странах Азии я и раньше никогда не бывал, так зачем уж было бы теперь искать покоя в тени минаретов, если долгая тень их пересекает Пяндж? До глинно-желтого, смутно-грозного Афганистана, где лазерный прицел татуирует талибский лоб, рукой подать... Нет, и это не путь.

И хотя манили меня видения существовавших некогда Домов, извините, творчества (писатель я), которые, по случаю свободы, разом закрылись в республиках, и хотя твердо, надежно знал я, как оно недурно — отвлечься от этого паскудного творчества и хорошо, сердечно попить вина с национальными поэтами, — все равно не мог я преодолеть стойкого отвращения к проявлением национального благородства. Вот такое я создание.

Не нужны мне ваши поэтессы.

Посему я очутился дома, среди благородных русских, в самой что ни на есть России, севернее Москвы, где уже не акают, а окают. Там, где родился, да не пригодился. Мне здесь предстояло некое дело, странным образом связанное со всей моей жизнью, и вот это дело удобно было совместить с отдыхом, тем более что речь шла, как бы это сказать определеннее, о любви.

Да. О любви.

Бывает. Иногда.

Бабочка зимой.

Далее не следует описание искренних чувств. Оставим это... Не хочу. Я очерствел.

А чувства были. И даже сильные. И самое сильное, самое непосредственное из чувств — постоянный неприятный страх, когда мы с братом и племянником устраивались поиграть в карты на открытой веранде, а из тьмы летней ночи к нам летел пьяный мат-перемат, в котором литературное слово было только одно. Да и то матерное.

Это все звучало в мой адрес. Для вечернего усаждения, так сказать, моих ушей.

Однажды прогремел выстрел, но дробь вся прошла выше лица, только сеченое свинцом стекло остро брызнуло по столу. Брат прынул на пол, племянник вырубил свет.

Отважная братова жена Рита схватила топор и выскочила на улицу с криком: «Убью!» Вернулась, тяжело дыша, щелкнула светом и сказала с горькой гордостью: «Я эту падлу все равно убью!» А минут через пять истерически, тяжело зарыдала.

Я увидел на льняной скатерке живую, но без одного крыла прелестную пеструю бабочку — Глаз павлина. И еще капустницы падали одна за другой — белые, чуть золоченые, если присмотреться к крыльям сблизи.

Вина моя перед Хориным (фамилия ненавистника) заключалась в том, что в одном из рассказов я дал герою портретное сходство с этим самым Хориным. У него имелось на лице оригинальной формы, похожее на бабочку, лиловое родимое пятно. Таким же пометил я героя. Заело Хорина до невменяемости: он прилюдно обещал меня изуродовать. А ведь и герой-то был вполне симпатичный — я тогда исключительно про свет добра писал. Просто у меня не хватило, знаете ли, мощи писательского таланта, не хватило присущего нам, писателям, глубинного, потаенного знания народной жизни, не помог, значит, даже и внутренний оптимизм моей прозы.

Не смейтесь, граждане, над больным человеком, именно таков, я уверяю, почти всякий из нашей писательской братии.

Наверное, я с добром тогда перебрал. Жизнь оказалась много драматичней. Не так уж и ярок оказался его свет — добра-то. Хорин вот не разглядял через призму моего дарования. (На самом деле главное в том, что он вообще есть на белом свете — свет добра, — но это я стал понимать после горя, которое было не за горами).

Что Хорин был алкоголик — говорить, полагаю, не стоит. Только, пожалуй, вот что: отечественный алкоголик — это вам не пьяница, который в худшем случае бывает «горький», а обыкновенно ничего себе человек. Ну, обмочится когда... Алкоголик наш — это и не человек, а воплощенный ужас — зверюга, мразь самая поганая из поганых, отвратная из отвратных, гнойно-смердящая, но имеющая на себе внешний облик человека. Я говорю об особой категории алкоголиков, и если вам подобные не встречались, то усердно благодарите судьбу. Не ленитесь. Но я сомневаюсь, что не встречались. Они размножаются. А нас все меньше.

Бабочка сейчас тоже редкость.

Кстати уж. Еще и до ловли бабочки я знал, что в человеческой душе (говорю, понимаете ли, исключительно о своей, так что на свой счет не берите) живет целый зверинец. И жрать просит! Заяц трусости, лиса хитрости, медведь глупости, шакал подлости, змея предательства, лемуру лени, таракан зависти — никакой твердой зарплаты, даже и превышающей минимальную, не хватит, чтобы насытить мерзких обжор. Что уж говорить про мои гонорары. Это вещь, объема не имеющая. Миф начала тысячелетия. Зверью же все время дай чего-нибудь и дай, и не просроченное чтобы, и без нитратов чтобы, и в элегантной упаковке чтобы.

И всегда им мало!

Зато не рвет зубами кровавое мясо лев благородства. Он вечно болен... Фактически, увы, вегетарианец. Гривой не трясет — нечем трясти. И никак не образуется у него знаменитая львиная морда: тяжелые эти, скульптурные глубокие складки, действительно складывающиеся сами собой в парсуну очевидного, врожденного благородства. Подойдет, бывало, к зеркалу, начнет кроить благородство, так и сяк двигать щеками да лоб морщить, да башку этак вскидывать — а только смешно выходит. (Он настолько невежественен, что не знает, что благородство и впрямь бывает иной раз смешным. Простодушие!) Поэтому лев благородства большей частью спит себе, позабывши, кто царь среди зверей, а кто ничтожная гнида. Сон его, с бархатистым, переливчатым похрапываньем и детским молочным причмоком, сопровождает звук нежнейше-звонкий: то соловей любви прядет свою серебристую песнь. Под наглуую отрыжку гадов.

Одновременно.

Так уж устроен этот мир. Без бабочки.

Поди поймай!

А она мне нужна, а знаете для чего?

Она бы танцевала в моем зверинце, и все эти кошмарные звери — они бы смотрели на нее. Мне было бы с бабочкой в душе куда легче жить.

Но поди поймай!

Топора Хорин испугался, а я перестал источать эманации страха. Соответственно, он их перестал телепатически чувствовать и, наверное, потерял острый интерес к первоначальному замыслу. (Так и у писателей бывает. И у политиков. Иной раз и целые государства, да что там госу-

дарства — народы! — народы впопыхах куда-то не туда заносит, и они забывают о Первоначальном Замысле).

Но гадина меж тем все-таки кружила вокруг мирного дома днем и ночью, неизменно на что рассчитывая безумным своим сознанием. И как ни иронизировал я сам над собой, как ни пытался настроиться на просто-душно-пейзанский образ мыслей, но давала себя знать книжная культура: все мне представлялось, что кто-то темный, мифологический гудит из космоса ночи: горе будет! кровь прольется!

Вообще Хорин был знак мне о серьезном неблагополучии моего духа, тяжелом внутреннем нестроении, которое обыкновенно оборачивается болезнями — в легком случае, а в не легком случае судьба подсылает такого вот Хорина. Мой случай был, полагаю, крайний, из тех, что не лечатся. Подробности последуют ниже. Иначе, как то, что направляет его в наказание мне высшая воля, я и думать не мог, но догадками этими не делился. Отчасти по причине самолюбивой обиды: ладно, Творец, я плох и отвратен, но зачем уж насылать на меня такое чудище поганое? Накажи меня страшно, но не унизь.

А как бы он это мог сделать — наказать не унизив? За грехи мои? За несовершенства, я бы сказал, потому что несовершенство человека, самому себе разрешенное, и есть его главный грех перед Творцом.

Вы же понимаете, к чему клоню я, зимний энтомолог?

«Не дай мне Бог сойти с ума».

Погоди, дитяtko, еще запросишь Его именно об этой милости. (Это и будет тебе наказание без унижения — потому как с безумного нет спроса за безобразие).

То, что орудием наказания избран был Хорин, — не содержало ли в себе последней меры гнева?

Однажды он вынырнул, как скелет со дна (невероятно был худ), к нашей веранде из садовой ночной темноты и сказал без всякой интонации: «Я все равно что-нибудь сделаю», — и растворился. И даже Рита оцепенела. Брат уронил чашку, она разбилась.

Чтобы ничего не случилось, я решил через пару дней (сразу было бы стыдно) вернуться в Москву. При этом одно дело оставалось у меня здесь незавершенным. Странно было бы называть это делом, но из экономии слов...

Как подступить?

Я опять о любви...

Когда-то я любил Нину, и Хорин любил Нину, но Нина любила меня. Если учесть, что один из нас психопат, второй — писатель, а Нина обычная святая, то треугольник получается с двумя вершинами, режущими третью. Хорин считал себя нелюбовью Нины навеки искалеченным, только он ошибался — искалечен-то он был от века. Он ведь, что ходить вокруг да около, был от алкоголизма настоящий сумасшедший. Я полагал себя страдающим, поскольку любя Нину, еще больше любил литературу, а точнее — какая же это пошлость, но и никуда я от ней не денусь и не солгу — себя я обожал в так называемой литературе. Признательный поклон К.С. Станиславскому. Вот я опубликован. Вот перевели... Это хуже графомании, графомания — мелочь. Нина получила все полной мерой — и его психопатию, и мою литературу. И меня сбоку от литературы.

Чтобы расцвел мой талант, я в свой срок так рванул из любимого города в направлении столицы, что не потребовалось отрясать пыль с подошв: подошвы остались в точке старта. Сюжет преглупый, но поучитель-

ный: Нину я потерял, а приобрел что? Легко перечислить: нескладную, быстро и бесследно развалившуюся, химически бездетную московскую «семью», некоторое тяготение, буду честен, к спиртному, неважную квартиреницию. Напечатано чуюк прозы, чуюк написано. Оброс «связями» самой диковинной, но это для Москвы обычная норма, конфигурации. На хлеб зарабатывал журналистикой в окрестностях большой политики, и горек мне был тот хлеб. (Опять заношусь, лживая тварь: не был он мне горек, а был — пресноват).

Моя сука (а по какому праву, если разобраться, я так ее величаю?) вознеслась в пиар. Вечно кружит, как муха над какашкой, вокруг какого-нибудь политика и почему-то прибавляет год от года в росте, одновременно патологически худея. Просто верста коломенская, чем и гордится. Забавно представлять, как она спит с какой-нибудь сластолюбивой сволочью, которой, конечно, «ничто человеческое не чуждо», воздевая свою ходули к потолку (царапая, должно быть, потолок каблуками туфель). Больше всего я радовался, что мы давно и прочно разбежались с ней. Единственная большая удача в Москве — это развод, и странно, что есть дураки, которые мне сочувствуют. Пораженья от победы они не могут отличить.

Нина же оставалась там, в прошлом, дома, и как бы обязана была сохранить все, что между нами произошло когда-то однажды.

Мы были друг для друга первыми тогда. Ее белье пахло детским мылом. От этого запаха ничего «трогательного» я не испытывал, но так ее любил, так сливался с ней, что понимаю: я — предназначенный Муж ей. Детским мылом наивно пахло ее белье, которое я любил мять в ладонях. Луговой травкой пахло оно. Я помню.

В Москве же предвкушал, разумеется, не луга — джунгли. Субтропики.

Я уехал за славой, у Хорина шансы не прибавились, да он и поутих, так как я — раздражающий психа соперник — исчез, а уж с Ниной Хорин предполагал все же договориться — получить ее не мытьем так катаньем.

Так как глупость писателя не знает пределов (у лучших она называется честность), то свои печатные опыты я посылал Нине в течение нескольких лет, полагая ее поразить все-таки и убедить ее душу, что не мог я там остаться, не мог закопать талант на огороде. Когда завел «семью», писать Нине прекратил. Все ряской затягивалось. И от нее писем не было, и ничего я знать уже не знал и не хотел знать, как она там, и думал я, что она замужем, наверное. Не за гадиной Хориным, а за кем-то, за кем было ей быть замужем не оскорбительно для меня.

Государство (почему я о нем вспомнил?), я кожей чувствовал, приближалось к смерти (или к рождению, но определенно к муке), а я просто старел.

И я постарел.

А она обязана была все хранить!

Письмо от нее я узнал по почерку, вполне школьному, но неуловимо зрело-характерному; в конверте прощупывалась фотография.

Фотография там и была, с надписью. «Посмотри на нас, нас двое. Это моя Катя, говорят, что похожа на тебя. Приедешь в наши края, зайди хоть посмотри на нас. Нина». Дата. Подпись.

Маленький, неважный полароидный снимок, на котором запечатлены были молодая и юная. Нина и Катя. Почти счастливые...

Я очень захотел что-то сделать. Забраться на Храм Христа-Спасителя — и полететь вниз. Господи, прости меня за прегрешение умысла.

Так вот, если честно: я что, не знал, что они у меня есть — жена и...? Жена и дочь.

Я не знал, я не знал, я там сто лет не был, она сто лет не писала, она знала, что я женился по любви!

Все я знал. И допускал, и уверял себя, что девочка у нее не от меня, и нагонял в себя даже и чувство некоей обиды, а даже и оскорбленности — вот, мол, она какая!

То-то выжирали мне душу мой зверинец!

Я приехал, и не иду к ним, а Хорин, как судия и палач, бродит вокруг дома с ружьем, целится из темноты... что ж, я не гашу свет, я каждый вечер — хорошо освещенная мишень. Я даже не делаю резких движений.

Ну, Хорин, поставь точку.

Не иду к ним — что-то загустело в сердце, бьется оно редко, глухо, тихо, а то вдруг пустится в страшный пляс — и тогда сохнет во рту.

Что со мной?

А то называется — стыд. А в данном случае называется — горе стыда. А еще в данном случае это называлось стыд любви. Я не мог через все это переступить, я не мог пойти к Нине и Катюше.

Я пошел к ним под вечер — без всяких цветов, конфет и шампанских, не думаю, что все это было бы уместно. Они жили неподалеку в старом доме (когда-то он был новым), выступающем из сада на улицу, что тянулась над рекой.

Как будто они ждали меня!

Мне кажется, меня качало, как пьяного. Или я, напротив, шел, как деревянный, оловянный, стеклянный. Я не знаю. Очень болело сердце — за грудью резало.

Шаг за шагом. Они стояли и смотрели на меня — женщина и девушка. Жена и дочь. Не притягивали. Не отталкивали.

Не отталкивали!

За мной в двух шагах шел Хорин с ружьем, и я знал об этом, но это мне было все равно, потому что ничем он помешать мне не мог, не было у него ни власти, ни силы. Тишина установилась на улице, как в театре перед выстрелом. На нас смотрели непустые окна.

Что он прокричал?

— Обоих отхарил! Обоих отхарил! Отхарил маму с дочкой!..

И прыгнул мой лев!

Я сомкнул зубы на мерзком горле.

Он смертно захрипел, мой Хорин.

...Он остался все-таки жив. Передал мне из больницы, чтобы я пришел к нему — он надумал просить прощения. Я был под следствием, но обошлось: городишко невелик, я тут числился не последним человеком.

Все решения были приняты нами. С осени я предполагал пойти преподавателем русского и литературы в местную школу, в которой сам когда-то учился. Дело было за малым — продать в Москве квартиру, свернуть так называемые дела. Нина и Катя решили со мной не ездить, и даже о том шла речь, что, может быть, имеет смысл эту московскую квартиру оставить нам за собой. Может быть, Кате пригодится на будущее...

Я уехал сворачивать дела.

Конечно, москвичи помнят эту ночь — ночь августовского урагана, когда рвало провода и деревья валились прямо на машины. Во многих домах высадилась окна, но для меня вся катастрофа обошлась тем, что бабочка разбилась о стекло.

Но я не спал — тягостно, страшно мне было. В 4 часа 13 минут раздался межгород.

— Алло! Вы не спите? Это с родины беспокоят. Из милиции. Вы мужайтесь, пожалуйста. Хорин сегодня ночью изнасиловал вашу дочь. И задушил. Он задержан. Сознался. Экспертизу спермы и крови проводим сейчас. И эпителия...

...Гуманный суд дал ему восемь лет — как идиоту медицинскому.

После похорон Кати я решил его убить.

Нужны были связи. Я, государственный хренов, решил, что дойду до Президента России, добьюсь пересмотра дела Хорина, и суд высшей инстанции даст ему расстрел.

В декабре Нина приехала ко мне в Москву, одним днем, затем только, что я сказал ей по телефону, что знаю, как все решить. К тому времени нужную дорожку наверх я натоптал: меня вывели на человека из Администрации Президента, и человек этот мог и сам дать распоряжение о пересмотре дела. Не называю его фамилию.

Я не хочу описывать Нину, какой увидел ее в утро московской встречи.

Мы дожидались важного человека на проспекте Мира между Олимпийским дворцом и церковью, которая смотрит на мечеть и на «Макдональдс». Ее тогда реставрировали.

Я познакомил его с Ниной, и он деликатно попросил ее подождать, пока мы переговорим о делах. Мы вошли в церковь, внутри там были подкупольные леса. Что-то кричала мастерам прямо в купол, как в лицо Богу, стерва с сигаретой в зубах.

Плохая примета.

— Ты не дергайся, — сказал госчиновник. — Она ничего осквернить не в силах... Кроме себя.

— Вы поможете нам с этим судом? — прямо спросил я. — Я понимаю, все сложно, но такой случай, что... Ну не преступен же наш закон! Ведь он ее не только убил. Не просто изнасиловал... Ведь он же...

— Не рви душу, я дело просмотрел. Он не расстрела — казни заслуживает. Если по-человечески. Но закон...

— Не преступен же наш закон! — с яростным упорством повторил я. — Если Хорина приговорят к расстрелу — всем будет лучше, — я сорвался, кажется, в истерику.

— С чего ты взял, что закон не преступен? Любой, если разобраться... Хотя без них еще хуже. Но это лирика. Ты вот что. Я коротко. Скажи жене, что все будет в порядке. Хотя, я думаю, она его смерти не хочет — уже поднялась выше. Насколько я могу понять... Теперь еще два слова... Государственная тайна, — он усмехнулся. — Завтра будешь телевизор смотреть? Извини, ладно. Я потому спросил, чтобы ты телевизор не выключал. Завтра снимут Президента. Его, его, не удивляйся, ты мужик не наивный. Смотри первую кнопку. В стране все встанет с ног на голову. Крен будет у нашего корабля. И — извини еще раз. Держись. Я бы и рад помочь, но ты же понимаешь, я уже никто. Кем-то стану — встретимся. С женой твоей я не буду прощаться? Да, ты знаешь что? Ты знай: такие в зоне долго не живут. Дурак не дурак, а не живут. Не живут. Да, еще: поменяй рубли на доллары...

Она решительно отказалась поехать ко мне в Отрадное. «В тот дом — не хочу». Ничего не спросила и про наш разговор, а я не стал рассказывать: и без того она все поняла, но не хотела сказать. Мы зашли в «Макдональдс» — туда как раз завалилась развеселая стая подростков. Нас обоих затрясла слезы.

— Не надо было его в церкви об этом просить, — сказала Нина.

— Нет, я специально, чтобы Бог помог.

Вечером я проводил ее на поезд.

Такие в зоне не живут, соображал я. Значит, надо узнать, где именно он сидит, а там я уж понимаю, что надо делать. То, что он сумасшедший, — разве индульгенция?

Пришел домой, стал у окна без света и увидел, что бабочка танцует перед моим лицом, за оконным стеклом. Я распахнул окно, стал ее звать к себе, но она только танцевала то ближе, то дальше от меня, и вот снежное полотнище накрыло ее и унесло влево и вниз, рассыпаясь искорками.

Поди поймай!

Я уж как стараюсь, уж как стараюсь, которую ночь дежурю у окна. У меня есть все-таки надежда, что она прилетит, станет жить в рюмке Гаргантюа, и — метафизически — в моей душе, в которой столько зверья развелось, что мне страшно по ночам.

Художник В.К. принес, наконец, разрисованную простыню, я ему отдал рюмку Гаргантюа и в придачу бутылку, на что он заметил, что я веду себя так, будто не проспирит. Он умный человек, но немножко засиделся, но потом все же ушел.

Наконец-то она у меня есть!

Вечером, когда опять задул ветер со снегом, я вышел на балкон, крепко привязал простыню одним краем за перила, а полотнище подцепил сачком и распустил по ветру, который так и норовил его свернуть и бросить мне в лицо. И бросал, но я раз за разом разворачивал простыню, и гигантская бабочка трепетала на ветру.

Внизу уже люди собрались; что-то кричали и даже свистели — радовались на красоту.

И вот она прилетела! Вот же она, бабочка! Прилетела! Конечно, она прилетела! До нее было рукой подать, а все же и сачком я не мог достать ее.

Я вылез через балкон, повис сперва на руках, потом нащупал ногой какой-то крошечный штырек, оперся на него — потянулся сачком к бабочке, держась одной рукой за натянутую простыню.

Лег почти горизонтально в легком воздухе, простыня — как крыло.

Что они там кричат внизу?

Зачем-то ломают мою дверь.

Нет ничего прекрасней бабочки пестрой, танцующей в белой метели!

Да-а-а-а-а!!!

## ДУРАЧОК

Мы очень любим правду. Будучи глубоко убеждены в своей правоте, мы горячо восклицаем: «Это же чистая правда!» А другие люди тоже горчатся и даже краснеют и выкрикивают: «Да какая же это правда?»

А говорим об одном и том же.

Этим наблюдением я решил предварить рассказ, поставив его в самом начале вроде эпиграфа. Мысль моя очень проста: люди всю жизнь ищут

правду. Либо они соглашались с ней и по ней живут, либо стремятся согласить правду с собой, чтобы она притерпелась и как-нибудь приличнее старалась бы выглядеть. При этом иной раз случаются весьма неприятные истории...

Село Сапожок выгодно отличалось от многих окрестных сел тем, что в нем был только один дурачок. Этот факт районные краснобаи, зарабатывающие хлеб словом правды, часто приводили в своих статьях и выступлениях как положительный пример борьбы с пьянством. Пьянство тут было совершенно ни при чем, так как дурачок родился у непьющих родителей. Мать его была неграмотная женщина, хотя знала счет и умела расписываться, а отец был давним подписчиком многих газет. Он выписал их до шести наименований и на 1975 год, тот год, когда его сыну — дурачку Васе — исполнилось двадцать восемь лет.

...Далее мне неловко продолжать рассказ, так как Вася выпивал. Удобнее и приличнее было бы, если бы Вася не выпивал, рассказ получился бы тогда «нацеленный», и всякий, кто прочитал бы его, мог сказать: «Вот до чего пьянка доводит!»

До чего она доводит, мы еще увидим, но, затеяв рассказ о правде, я лгать не буду: Васек выпивал.

Годов с двадцати он привык ходить по свадьбам и на поминки. Конечно, ходил и раньше, потому что любил, когда много народу собирается, но до двадцати лет не пил — не подносили. А лет этак в девятнадцать или двадцать стал он примечать, что, помимо куриной лапши, каши с мясом, компота и кваса, помимо хлеба с солью употребляется на свадьбах и поминках особая вода из бутылок. Выпив такой воды некоторое количество стаканчиков, люди оживлялись, веселились, пели и иной раз даже дрались. После драки непременно звучали вещие слова: «Пьянка до добра не доведет!» А если кого забирала милиция, то тогда, слышал Васек, говорили так: «И чего человеку не хватало? Допился!» Никто не знал, чего человеку не хватало, потому как в Сапожке хватало всем и всего. Исключительно все было в продаже, ну разве что колбасы не было, за колбасой ездили в Москву, тут недалеко, а прочее: одежда, велосипеды, ножи и вилки, вообще всякий товар — все это, конечно, имелось. Газеты прямо по домам разносили, и в каждом доме телевизор и холодильник, и об этом факте краснобаи тоже говорили как о победе. Они говорили, что в тысяча девятьсот тринадцатом году этого не могло быть. Это, конечно, глупые слова, но, между прочим, тоже правда, в тринадцатом году телевизоров не было.

Вернемся к дурачку. Однажды он пришел на свадьбу и привычно стал около края стола, ожидая, когда его посадят поесть. Свадьба была в доме Архипа Петрова — он женил сына, и Архип, приметив Васю, подумал: «Поднесу...»

Архип, когда это решил, был вряд ли умнее непьющего до тех пор Васи. По дурусти он в этот момент Васю далеко превзошел. Он решил сделать Васе приятное и закричал:

— Васек! Садись, друг, выпей с нами!

Налили Васе стакан самогона крепостью около шестидесяти градусов. Как пить Вася знал: не отрываясь. Он выпил полный стакан и подумал, что пришла лютая смерть. Как будто кто-то с огромной силой ударил его по голове, и вот теперь голова куда-то летит, стены вокруг кружатся, падают, а люди кричат и говорят кто что, без смысла; должно быть, они мертвые. Уцепившись за стол, Вася закрыл глаза. Он увидел белое небо.

Он удивился и открыл глаза. Он был на улице, лежал на лавке под кустом сирени.

Вася проспал до вечера, и Архип берег его сон: показывал на спящего Васю и довольно, гордо говорил:

— У моего сына на свадьбе нажрался!

Вася стал алкоголиком с одного стакана вонючей самогонки.

Теперь он приходил на свадьбы и поминки с одной понятной целью. Придет, станет у порога, стыдливо улыбается в пол. Глядя на эту стыдливую улыбку, казалось, что Вася понимает: напрашиваться на угощение нехорошо, — и если бы кто-нибудь сказал в такую минуту Васе: «Вася, иди домой!» — то он, скорее всего, ушел бы тут же. Но никто этого не говорил, потому что говорить подобные слова тоже стыдно. Гость есть гость. И более того, в Сапожке стали считать, что если Вася не пришел на свадьбу, то либо невеста не цельная, либо жених в тюрьму сядет. Васю, чтоб не было плохого, заранее предупреждали: завтра свадьба. А насчет поминок ему мать говорила: она была старуха, ходила на все похороны и поминки.

Превратившись в алкоголика, стал он хуже и меньше работать, хотя сила у него была все еще чрезвычайная, и усталости он пока что не ведал. Дело не в усталости, а просто в глупую его голову, ослабленную пьянством, проникала в минуты напряженного труда короткая и безответная мысль: «Зачем работаю?»

В труде и пьянстве он дожил до двадцати восьми лет. Мужики стали донимать его разговорами про женитьбу.

— Женишься когда, Васек? А то старый станешь, никто за тебя не пойдет.

— Не стану!

— Женись, пока в силе. Сейчас за тебя любая выскочит, а как зубы попадают — ни одна не глянет.

Вася шарил языком во рту, смеялся:

— Все зубки целы. Как укушу, как укушу!..

— Хочется куснуть кого-нибудь за что-нибудь!..

Вася голову запрокидывал, он пьянел от таких разговоров. От улучшения жизни стали в Сапожке пить на работе. Вася не оставался в стороне от этого вольного занятия, ему нашлось очень ответственное дело, наиглавнейшее, можно сказать: **сбежать и принести**. Он бегал и приносил. А выпив, разговаривал с прочими мужиками на равных, как умный с умными, как с дураками дурак.

Однажды утром, в субботу, Архип Петров, некогда приохотивший Васю к выпивке, послал его в магазин за бормотухой.

Вася купил в магазине четыре или пять бутылок и вместе с Архипом Петровым и Иваном Кожиным поехал в район на стройкомбинат грузить бутовый камень. Ехали они в самосвале и одну бутылку выпили на ходу, шнырнув пустую посуду метров за сто вперед по ходу самосвала. Вася радостно захохотал, когда стеклянный снаряд брызнул на дороге веселенькими осколками и обратился в блестящий прах.

Архип переглянулся с Иваном Кожиным: вот, дескать, разбирает дурака. Гогочет, пенек божий. И тоже смеялись.

Бутовый камень, белый, пыльный, они грузили на самосвал вручную. Было жарко, пот тек по лицу и груди, известковая и цементная пыль об-

лаками ходила по двору комбината. Нагруженный самосвал, тяжело переваливаясь в окаменевших на жаре растворных колеях, уезжал. Мужики старались спрятаться в тень, но хорошей тени, с травкой и деревьями, тут не было. Трава стояла седая, деревья были без листьев. Сели просто под забор, тоже седой от цемента.

— Выпьем, мужики? — спросил Архип как старший среди них. Выпили бутылку.

Стало им от этого только хуже, потому что появилась от жары, от усталости и от дрянного ядовитого вина головная боль.

— Пошли купаться, — предложил Иван.

Пляж был недалеко, рядом с причалом, куда швартовались баржи с песком и гранитной галькой для комбината. Пляжем называлось место, образованное осыпями песка при разгрузке барж — в субботу и воскресенье тут собиралось довольно много народа из райцентра.

— Не все вот горбят-то, как мы, — сказал Архип, оглядывая публику.

— Некоторые пивко тянут, в шахматы играют. Вот пройтись бы по песочку, у каждого спросить: чем занимаетесь? Ага, купаемся, по пляжам, по кинам ходим! И штрафовать! Эх, кобылки-жеребцы!.. Я бы тоже сумел заместо, чем камни ворочать, в волейбол заниматься!

— Не базарь, Архип, — урезонил его Иван. — Ищи лучше место, где мы с тобой окунемся. Тут-то неловко в таких трусах.

— Чего еще искать? Я в этих трусах перед женой и матерью не стесняюсь ходить.

Разделейся, пошли в воду. Черные от загара были у них шеи да руки до локтей — вид был крестьянский. Солнце они видели летом много, от утренней зари до самого заката, но солнце видело только их шеи и руки.

Вася скучно сидел на берегу, сторожил одежду, на каждой руке часы — Архип с Иваном отдали.

— Охолонись, Васька! — позвал его Иван.

Вася благодарно улыбнулся.

Он аккуратно разделся, отошел в сторонку. Вода показалась холодной. Плеснул себе на грудь и заорал:

— Ой, мочушки нету!

Все засмеялись, стали глядеть на Васю, а Иван затесался, где народу побольше, плещется и тоже орет:

— Ой, мочушки нету!

Архип плюнул и выругался матерно: вот ведь козлы выделяются!

Освеженные и довольные, вернулись они на комбинат. Двор его, раскаленный солнцем до крайности, был теперь прямо-таки страшен своей безжизненностью. Жар здесь настоялся, загустел, и ветерок, хотя и поднимавший пыль, но зато и холодивший кожу, не мог сейчас взбодрить и раскатать вяло свивающиеся над двором струи перегретого густого воздуха.

Нагрузили еще один самосвал и сели снова под забор — козыречек тени немного удлинился и накрывал их с головой. Выпили еще одну бутылку, третью по счету, поели хлеба с салом и огурцов — закуска была Иванова. Архип и Иван уснули на земле и захрапели, а Вася сидел, сидел и надумал еще выпить, но потом решил, что без товарищей нельзя. Он опять пошел на пляж.

В воду Вася не полез, а смотрел издали, как девушки в мяч играют. Бегают по песку, пяточки закидывают. Боже мой, как красиво! Вася смотрел, пока слезы не навернулись. Никто к нему не подходил, играть в

мяч его не звали, а что девушки его заметили и одна из них уже нацелилась как-нибудь его завлечь своей красотой, он не видел. Вася в глаза девушкам стеснялся смотреть, а без этого ничего никогда не получается, глаза — первое дело, зеркало души. Он сидел и сидел, тяжело мучился, не мог встать и уйти. Про товарищей на комбинате он совсем забыл, равно как и про вино. Тяжело билась в нем кровь, он что-то бормотал глухо и быстро. Время летело.

Летело оно и на комбинате. Архип и Иван проснулись совершенно больные, злобные.

Выпили четвертую бутылку.

На комбинате стояла мертвая тишина.

— Еще одна должна быть!

— Нету, последнюю приговорили, — сказал Архип. Он соврал: пятая бутылка была им спрятана еще утром между панельных плит — на всякий случай.

— Ну так придет он еще раз или как? — спросил Архип.

— Самосвал? Не знаю. Надо домой двигать, я к такой перспективе склоняюсь.

— Чего, чего?

— Хрена мово!

Веселый, хороший, товарищеский шел у них разговор.

— Знаешь, что, Архип, — сказал Иван, снова захмелевший и оттого оживившийся. — Дураки мы с тобой деревенские. Были бы деньги, надо бы нам в ресторан тут сходить или на вокзал. Поискать баб помоложе. Ведь город, что ни говори, станция. А у нас там что? Деревня, колхоз «Сорок лет без урожая». Ведь подумать, какая нам обида: тут все, а там что?

Говорил он мечтательно.

— Ведь прямая несправедливость. Вот хоть будут у меня деньги, а кому я нужен? Я же деревня!

— А что это ты загорелся? — спросил его Архип насмешливо. — Сви- нья ты, Иван!

Спорить Иван поленился.

Архип встал, сходил за плиты. Между делом он посмотрел, на месте ли бутылка, и, увидев ее и погладив, прошептал: «Тут!»

Иван опять наладился уснуть, но Архип, потряся его за плечо, спросил:

— Давай, Ваня, как-нибудь соображать на автобус. Кричи Ваську.

Стали звать Васю, но его нигде не было. Долго бродили они по двору, заглядывая под штабеля панелей, и только когда заступивший на смену сторож сказал им, что их третий давно ушел, они успокоились и решили, что Васька уехал домой на автобусе. Архип проявил великодушие и товарищество: извлек на свет божий бутылку и сказал обрадованному Ивану:

— Хлобыстни! А то правда кинешься по бабам! Ты, Ваня, экономь энергию для семьи, так лучше будет. Городской жизни не завидуй. Было бы тут лучше — навряд бы они к нам на отдых ездили.

— Была у меня одна, — меланхолично отозвался Иван. — Ты, Архип, не знаешь, что такое женщина, если она на свободе.

Они уехали на автобусе и по дороге уснули.

Когда совсем стемнело и никого уже не осталось на пляже, Вася вернулся на комбинат. Ворота его были закрыты. Вася постоял около ворот, потом вышел на дорогу и огляделся. Асфальтовая полоса текла вправо и влево, и Вася пошел налево. Он шел мимо недавно закрытого кладбища, за забором которого кучно стояли огромные старые дубы, неподвижные и молчаливые и оттого похожие в темноте на скалы, потом под гору, через мостик, переброшенный над сухим городским оврагом. Под мостом выпивали, Вася услышал звяканье стакана о бутылочное горлышко, перегнулся через перила и посмотрел, действительно ли пьют. Васю пуганули матом из-под моста, и он оглянуться не успел, как очутился у дощатого перехода через железнодорожную линию. Над переходом тихо пели провода; от этого Вася встрепенулся, стал внимательнее, со страшноватой жадностью глядеть вокруг — он предчувствовал, что этот вечер будет отличаться от всех других вечеров в его неинтересной жизни.

Вася подобрался и, не осознавая глубоко, зачем он это делает, стремился за какой-то девушкой, одиноко торопящейся через переход.

Кругом стало светлее от фонарей, под фонарями ходили люди, тут было много девушек, и Вася растерялся. Он отошел в тень и смотрел, как люди ходят туда-сюда, чему-то смеются, а чему — он понять не мог. Так Вася стоял довольно долго, привыкая к этой жизни, но вдруг увидел в одном доме свадьбу. Он стал искать крыльцо, но крыльца не было, была какая-то стеклянная дверь, за которой Вася обнаружил стеклянные сени. Вася пошел напрямик, раскрывая стеклянные двери одну за другой, ноздри у него вздрагивали — он чувствовал знакомый густой запах свадьбы, он улыбался широко и деликатно.

Кто-то спросил его:

— Чего ты не переделал? Даешь стране угля — на свадьбу в робе. Артист ты, что ли?

Вася ничего не ответил, да и не понял, что у него спросили о чем-то. Он прошел несколько шагов от двери до стола и остановился. Стол смотрел на него озадаченно. Вася с улыбкой ждал. Не могли не поднести. Официантки переглянулись, одна, покрупнее, подошла, привычно взяла Васю под руку, повела его приговаривая:

— Пойдем, пойдем, пойдем...

Васек пошел охотно, он сейчас не думал ничего, а знал, что ему дадут выпить и поесть. В дверях официантка привычно толкнула его:

— Придешь, когда позовут.

Это было так неожиданно, так не похоже на все другие свадьбы, где приходилось бывать Васе и где его обязательно поили и кормили, что он сильно испугался. Не оглядываясь, он быстро ушел от дома со стеклянными сенями и очутился под фонарем, тревожно моргающим в густых ветвях деревьев. Фонарь вдруг погас, и когда глаза привыкли к темноте, Вася увидел, как бесшумно и косо пролетела летучая мышь прямо над его головой и где-то у уха мгновенно развернулась и метнулась вверх и исчезла. Вася вздохнул глубоко и пошел по улице.

Шел он, конечно, домой, такой был у него теперь план. Дорога была удобная. Город кончился, фонарей не было, но светила луна, и собственная Васина тень уверенно показывала ему направление движения. Асфальт приятно грел ступни. Ночь только еще начиналась...

Днем, в воскресенье, хорошо отоспавшийся, опохмелившийся Архип встретился с Иваном на празднике — был День строителя.

— Чего, Ваня, будешь вечером делать?

— Рыбачить выйду. Наскучал по рыбе.

— Продашь рыбки, лады?

— Продам, чего ж.

— Продай, я куплю. Даром мне не надо. А то что ж, ты ловить будешь, а я даром трескать. Мне чужого не надо. Ты мне продай.

— Да нет, — сказал, подумав, Иван, — я тебе, Архип, продавать не стану.

— Чего ж так?

— Да я подарю.

— Ну, подари, — сказал с достоинством Архип.

На том и порешили, но Иван неожиданно почувствовал стыд. Не за себя, не за кого другого, а просто окатило его душу стыдом — он пошел домой и выпил стакан лимонада из холодильника.

Вася, который шагал и шагал всю ночь, отмотал к этому времени километров тридцать. Три раза достигала дорога села, но даже ночью он соображал, что ни одно из этих сел ничем даже не похоже на Сапожок. Ночью он есть не хотел, утром же нарвал спелой, жесткой фасоли у самой дороги и поел. Воскресный день (Вася не знал, что было воскресенье) установился ясный, словно промытый, и в нем соединились, будто связанные летящими над полями серебряными паутинами, летний зной и едва ощутимый хрустальный осенний холодок.

Вскоре Вася вышел к картофельному полю. Он подкопал руками куст, отбросил иссохшую ботву и по одной извлек из малой прохладной земной глубины сначала крупные холодные картофелины, а потом и мелочь. Он выбрал одну картофелину, вытер ее руками и подлом рубахи, очищая от нежной розовой шкурки, и стал есть. Невкусно было. Вдруг увидел на ботве соседнего куста колорадского жука. Вася разозлился, сказал громко:

— Фашист жук!

Он знал, что делать: снял фуражку и пошел потихоньку, внимательно оглядывая кусты. В фуражку он собирал жуков.

Поле все не кончалось, оно тянулось до самого горизонта. Вася, сильно устал, спина у него ныла, и больно было разгибаться. Стали дрожать колени, хотелось пить. Вася сел в ботву и закусил губу. Потом вскочил, побежал по полю и закричал:

— Бах-бах, бах, бах! Трах!

Поле не кончалось, и жуки не разлетались. И он упал.

Ночью на реке Иван зажег спичку, чтобы посмотреть время. Он взглянул на часы — было два часа ночи — и вдруг вспомнил, как Вася купался на городском пляже. Иван мгновенно похолодел и подумал: «Не в реке ли ты, Вася?» В следующую минуту он уже говорил это непрерывно, но в то же время боялся осознать до конца смысл своих слов.

Иван греб изо всех сил к берегу, весло выгибалось в его руках, а плоскодонка так и рыскала носом при каждом гребке, как рыскает собака, выискивая что-то в кустах. Плоскодонку он не стал приковывать, бросил ее на берегу со всей снастью и с рыбой, которой добыл килограммов пять, бегом побежал к Архипу.

Он постучал в окно, и Архип, как не спал, тотчас же спросил, прижав лицо к стеклу:

— Рыба?

— Выходи! Выходи! — почему-то через окно Иван не хотел говорить про Васю.

Архип вышел, заботливо прикрыл за собой дверь.

— А чего это ты расшумелся?

— Архип! Ты Васю вчера видал на улице?

— Нет. Чего ты шумишь-то?

— Ты что, Архип, тупой? Все не очухался? Его же нету в селе! Заводи мотоцикл, искать надо!

Архип крикнул, пошел в дом, вышел одетый. Они вытолкнули из сарая Архипов «Урал» с коляской. Бензин был, аккумулятор Архип только что зарядил.

— Ну, погнали наши городских! — бесстрастно вымолвил Архип. Иван уселся в коляску, взревел мотор, и они помчались на комбинат. Всей дороги было километров пятнадцать, дорога бежала под колеса, хорошо знакомая, новый ровный асфальт, тут и дурак дойдет. Но дурак, оказывается, не дошел.

На комбинате вышел к закрытым воротам сторож и сказал, что ни одной души на территории нет. Первая смена только в восемь утра заступит. А обход показал, что людей в наличии нету. И днем не было, тем более посторонних.

— А если он утоп? — спросил Иван, когда они отъехали от комбината.

Архип заглушил мотор, мотоцикл остановился, и их охватила тишина ночи.

— Ваня! Молчи!

— Это что же молчать-то мне? — вдруг Иван чуть не заплакал. — Чего молчать? Чего делать?

— Молчи, Иван. Посадят. Ничего не знаем — и все дела.

— Как так не знаем, Архип? Он же с нами был! Какие все дела?

— Ну что, что с нами? Что ж теперь — садиться из-за него? Врубись в мои слова. Ты пойми — несчастный случай. Где он сейчас — неизвестно. Может, он дома был, а потом что с ним случилось, мало ли? Ты к нему-то не заходил?

Иван посмотрел на Архипа ознобно. То, что Архип спросил, заходил ли Иван домой к Васе, наполнило Ивана тяжелой злобой. Всякий знал, и Архип не хуже других, что никогда и ни за что не станет Вася сидеть в воскресенье дома. В будни после работы и то норовил он на люди выйти, а уж в воскресенье, хоть жизнь замри в селе, а Вася все-таки будет ходить, смотреть на людей, со всеми по пять раз здороваться, приставать насчет «сбежать и принести».

— Заводи! — сказал Иван. — Заводи, а то я тебя тут, суку такую, уделаю!

Архип выругался, мотор остервенело взвыл. Они промчались по сонному райцентру и остановились под бессонным милицейским окном. Дежурный лейтенант, однако, спал, видимая бодрость была только в его руке, лежащей легко на телефонной трубке, готовой эту трубку сдернуть с рычажков по первому сигналу.

— Нам срочно! — Иван, не останавливаясь в дверях, подошел поближе, но тут же и оробел. Архип топтался позади и, видимо, больше всего хотел он очутиться сейчас где-нибудь подальше от этого места, от милиции, да и от Ивана.

— Тут всем срочно, — сказал лейтенант. — Только кажется, что срочно. Давайте по существу. Драка? Похищение? Угон?

— Человек у нас пропал.

— Найдем, — сказал лейтенант. — Хотя вряд ли, если действительно пропал. Как фамилия ваша?.. Да найдем, чего вы трясетесь?..

К вечеру Вася вышел с картофельного поля на ту же дорогу, по какой шел прошедшей ночью. Одна за другой пролетали большие и маленькие машины. Проехала женщина на велосипеде.

— Тетя! Тетя! Подожди! — закричал Вася и побежал за ней.

Женщина испуганно оглянулась, нажала изо всех сил на педали. Бежать Васе было больно: ноги у него распухли, он сбил большой палец на левой ступне. Он отстал и смотрел вслед женщине — осунувшийся, почерневший. У него блестели глаза, кулаки сжимались и разжимались. Надо идти домой, понимал Вася. Он пошел по придорожной пыли, она была теплая, нежная, как котенок. Внутри от боли все стянуло, живот болел все сильнее, а во рту было сухо, и губы зашершавели. Накатывалась быстро ночь, тянул слабый, прохладный ветерок.

Как прошла эта ночь, Вася не помнил. Он совсем забыл про луну, перекатившуюся по небу из края в край, про утреннюю зарю, начавшуюся глубокой ночью с едва-едва заметного посветления восточной стороны, а закончившуюся большим небесным тихим пожаром, он забыл про то, что ночью замерз и лежал, чтобы согреться, прямо посередине асфальтовой дороги, прижимаясь к ней всем телом и вдыхая смоляной, гудронный, автомобильный, любимый запах асфальта.

Утром он вышел к ферме. Как раз была дойка. Вася бегом побежал к ферме; когда доярки увидели его, они испугались, потому что он был страшен. Вася схватил флягу с молоком, наклонил, стал пить, и когда оторвался — улыбнулся и вздохнул. Доярки стояли у стены, одна из них, самая старая (молодых тут не было вовсе), подала ему скрюченной рукой кусок хлеба.

Через полтора часа за Васей приехали Архип и Иван. Они нашли его в медпункте. У него была забинтована нога, он молчал, жался смущенно в угол, и когда увидел Ивана и Архипа, то сразу же сморщился в счастливой, судорожной улыбке. Он поглядел быстро вокруг, потом опять на Ивана и Архипа. Встал и сел. И вдруг заплакал, выпячивая губы, морщась и шмыгая носом.

У Ивана от этих слез пережало горло. Архип почувствовал, что у него руки трясутся, просто ходуном ходят. Они вышли из медпункта и долго ничего не могли сказать друг другу.

Прошло несколько лет. С железным Васиным здоровьем ничего не могли поделать ни водка, ни самогон, ни другая отравка из числа тех, которыми опаивался человек. Он умер неизвестно от чего в возрасте тридцати пяти лет. Вместе с его смертью село Сапожок перестало пользоваться как имеющее всего одного дурачка.

## СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ

Первый раз я ослеп в юности.

Я попал под сильнейшую грозу. Нестерпимо белый клинок молнии распорол ствол высокой сухой сосны в десятке метров от меня. Падая, как подкошенный, я был уже слепым. Ударил адский гром, тугая горячая волна воздуха высушила мокрую рубашку на спине. Девчонка, собирав-

шая, видно, землянику в лесу, довела меня до дачи, беспрестанно, бессмысленно повторяя: «Я корзинку с земляничкой потеряла!» — как будто это было самое главное. Плохо было мне, а хныкала она. Ладонь ее руки была влажно-теплая, а моя, помню, ознобно-ледяная.

...Когда с глаз сняли повязку, первое, что я увидел, выйдя из кабинета, были невеселые люди, сидящие вдоль стен коленчатого коридора в институте Гельмгольца. Сопровождающие их зрячие родственники возбужденно выясняли, чья очередь впереди. Больные были одеты, как одеваются в том мире, где нет зеркал.

Я почувствовал глубокую радость оттого, что для меня все это уже закончилось, и вместо того, чтобы оправиться в школу, поехал на пляж в Серебряном бору. Очень хотелось поглядеть на девушек. Пляж был пустой; я не учел, что лето кончилось. Стоял октябрь уж у двора.

Зрение восстановилось не полностью, но потеря зоркости замещалась неожиданно приобретенными способностями такого рода, что, рассказав о них кому-нибудь, я получил бы совет обратиться к психиатру.

С одного взгляда я без ошибки определял, женщина передо мной или девушка. В буквальном смысле слова. Это первое. Второе: я обрел ясно-видение — мог, приглядевшись к человеку, рассказать все, что было с ним раньше.

Никто о моих способностях ничего не знал.

Я не развивал навык специально и уж, конечно, мысли не допускал проверить верность очередного разгадывания путем, например, окольных расспросов приятелей постарше, уже вкусивших запретного плода. Исключался, ввиду моей духовной конституции, «смелый эксперимент» — по той причине, что я мало верил, что какая-нибудь девушка или женщина меня полюбит настолько, что мы это сделаем.

Любить меня было не за что.

При всем этом к стыдному тянуло страшно, и я от этого жил яркой внутренней жизнью.

Я увидел однажды сон, который повторился потом в жизни с таким соответствием деталей, которое в здравом уме объяснить невозможно. Во сне я познакомился с девчонкой, выручив ее талончиком в троллейбусе, а потом мы с ней встретились у нее дома. Не надо только думать, что это было свидание. Не было, к сожалению, свидания. У нее в кресле (во сне) лежало пончо — кусок пыльной ткани с дырой для головы и с кисточками по краям.

Если кто не знает, что такое пончо, то можно поехать на ВДНХ, там перед фонтаном «Дружба народов» стоят человек десять светло-коричневых латиноамериканцев и на банджо и барабанах играют зажигательные мелодии. На каждом латиноамериканце настоящее пончо, что на мужчинах, что на женщинах. Девушка в ансамбле одна. У нее брат умер в Гватемале 12 августа 199... года, пока она на маракасах играла.

Я мог бы сеньорите рассказать о брате, но кто же захочет приносить такие новости. Чтобы проверить себя, я в конце августа пристал к веселым бандуристам и незаметно вывел разговор на то, что далеко все-таки от Москвы их родина Гватемала, там родные-близкие, братья-сестры. Они все насупились. А она вдруг заплакала...

Ну вот. Во сне в кресле лежало пончо.

Тем же августом я познакомился с девчонкой, выручив ее талончиком в троллейбусе. Там же и спросил: есть у тебя пончо? Она только глаза вытаращила: в кресле, говорит, лежит.

Дальше все как во сне — встреча была. Воспоминания мерзкие.

Воспоминания... Когда-то, миллион лет назад, в юности, ко мне подошел приятель — учащийся железнодорожного техникума, который раньше дал мне адрес китайской комсомолки. Я послал ей свои письма на русском языке, а она мне из Шанхая присылала портреты Мао и письма, писанные иероглифами. В последнем ее письме вместе с портретом Председателя был и ее портрет — тончайшая акварель, глядя на которую можно было подумать только одно: персик.

Не «пэрсик!» — а персик.

Я послал ей свою фотографию, но она не ответила.

В эпоху великой культурной революции (точнее, ночью 21 октября 196... г.) на просторном глиняном дворе, принадлежащем кирпичному заводу, ее зверски изнасиловали хунвейбины. Шесть хунвейбинов. Один из них ударил ее ногой в сердце, ее грудь разорвалась — он был мастер восточных единоборств. Они ее всю разорвали. Ни разу в жизни ее никто не целовал. Она целовала мою фотографию.

Воспоминания... Когда-то, очень давно, приятель вынул из кармана фотопленку и показал ее на просвет, секунд на десять. Негатив.

Кровь ударила мне в голову.

«Покажи!» — меня трясло.

«А вотушки — фотушки!» — хохотал он.

А я и так все разглядел — десять секунд время огромное.

Это была простодушная порнография. Что это была порнография — ерунда, ибо дух дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. Посредством этой пленки я узнал о чистой женской красоте — никем никогда не разгаданной тайне — все, что потом только подтвердилось.

Способность отличать женщину от девушки проявлялась все-таки с определенными ограничениями, или, лучше сказать, при соблюдении одного условия. Она должна была идти.

Дело тут не в рисунке походки, не в каком-нибудь покачивании бедрами, не в той особенной легкости, которая иногда несет женщину...

...после любви.

Далее стало происходить то, о чем лучше не рассуждать, а просто приводить факты, общий смысл которых таков: иногда, очень редко, я, зная, что передо мной женщина, также наверняка знал, что в душе она девушка. Вот просто: очевидная женщина, но в душе девушка.

То есть в душе она сохраняет себя нетронутой.

Одну такую я встретил в родильном доме. С приятелем, его женой и зятем я поехал в родильный дом на выписку его впервые рожавшей дочери. Давным-давно я хотел написать репортаж из родильной палаты, но в те суровые годы редактору мой замысел показался чересчур смелым. Редактор сказал: «В комсомольской прессе не место... этому делу! Могут принять за попытку выхода на секс».

Ну-ну, редактор.

Не случилось репортажа, но интерес к теме сохранился. Мы отдали няньке пеленки, ленточки, шелковый конверт и стали ждать.

Где-то в стерильных недрах родильного дома происходило то, о чем (редактор всегда прав!) не надо все-таки писать репортажи. Чернила потому что жидковаты, а тема неподъемная.

Я все внимательно рассматривал.

Мимо прошла женщина в белом халате. Красота ее была необычно-

венна. Писать про эту зрелую женскую красоту мне мучительно стыдно. Чувство стыда я испытываю, рассматривая цветок розы. Я не могу победить в себе этот стыд.

Со мной случилось что-то вроде обморока, какое-то мгновенное обвальное потрясение, как если бы я шагнул вниз по лестнице, а там не было ступени. Она уходила вглубь белого коридора, но вдруг обернулась.

Она больно ударила меня глазами по глазам; на минуту я ослеп.

...Приятель тряс меня за руку: «Да что с тобой!» — этого никто из нашей компании не видел, потому что все закружились вокруг конверта с ребенком. А роженица, я понял — видела.

Вечером этого же дня я выпил. Алкоголь обострил чувства. Я хотел разогреть нервы до предела и понять, что со мной случилось. Болели глаза после родильного дома.

Я сел на лавку в сквере и смотрел на проходящих.

Появилась несомненная, истинная женщина. Ничуть не красивая, совершенно прекрасная, она шла с магазинным ярким пакетом в руке, ни на кого не обращая внимания, ни о чем не думая, как идет женщина, не уставшая, к счастью, на работе, но которую ждут, однако, кое-какие обыденные дела, но сейчас, до обыденных дел, до ужина дома, у нее была своя минутка. С ярким пакетом в левой руке она шла — без небрежной торопливости в походке, но и без особой легкости. В двух шагах от меня она остановилась у телефона, минутку подумала, позвонила.

Взгляд ее был устремлен в себя, но вдруг она повела взором в мою сторону.

Она больно ударила меня глазами по глазам; на минуту я ослеп.

...Пошел дождь. В отрешении сидел я на мокрой лавке, переживая удар.

После этого случая я хотел было запить, но мне это ни от чего не помогает, да и без пьянства я был уже довольно близок к умопомешательству, но потом, поразмыслив, решил так: родился уродом — ну и живи, помалкивай. Не напрягайся. Береги ослабленное зрение.

Что касается фантазий «женщина-девушка», то я твердо решил: бывает так. Бывает. Какие тут, в сущности, сложности? Особое состояние души, внутренняя молодость, да даже, может быть, неутоленность! Это же видно. У женщин случается сильнейшее желание почувствовать себя девушкой — молоденькой, мнущей простыню во сне.

Позднее по журналистским делам мне пришлось быть в Шанхае, и уж я, разумеется, вспомнил печальную судьбу персика. Программу поездки украшал официальный и при этом экзотический обед на двадцатом этаже отеля, откуда открывалась круговая панорама огромного города. Ни в какую сторону не было ему конца. Средняя, обильно заставленная часть стола вращалась, подвозя китайскую пищу под нос дорожному русскому гостю. Водочка не крутилась по орбите, а прочно стояла на берегу стола.

Официантки в красных платьях передвигались с непередаваемой грацией — как если бы, выражаясь по-китайски, порывы речного ветра колебали стебли гаоляна на берегу Янцзы близ монастыря. На утренней заре. Стебли тростника под названием гаолян.

Ветер колеблет стебли гаоляна.

Зачем мне видеть их, если я не любим.

Понятно?

Тем же днем, к вечеру ближе, я слонялся по Шанхаю, покуда не забрел в небольшой магазин, приведя в движение целую гроздь дверных колокольчиков, зазвеневших при соприкосновении с моей плешью.

Я не хочу писать, что я ее сразу узнал. Не узнал я ее сразу!

Я не сумасшедший, я знал, что ту — ту девушку убили на глиняном дворе, и никакой дочери, повторившей облик матери, у нее быть не может. И все-таки это была она.

Это разъяснялось, разумом, просто: младшая сестра, по возрасту подходит, в 196... году была еще малышкой. Крошечным персиком.

Я что-то купил. Она на секунду ушла из торгового зальчика и тут же вернулась. Она подала мне открытый конверт с иероглифами, я вынул из него фотографию.

Старую черно-белую фотографию мальчика из Москвы.

С бешеными глазами.

Тогда две женщины — одна в роддоме, а вторая в сквере — вспомнились мне. Я понял, как они стали женщинами, и почему ударили меня глазами. В детстве их жестоко изнасиловали.

Они знали, кто я.

Я — насильник.

Много лет назад я изнасиловал девочку в кресле, она едва не задохнулась под пыльным пончо.

А та девочка, которая вывела меня, ослепшего, из леса, она сначала сопротивлялась, но я кулаком изо всех сил ударил ее в грудь. Земляника рассыпалась, а корзинку она потеряла...

Вернувшись в Москву, я пошел в храм на Большой Ордынке просить Богоматерь Всех Скорбящих Радости лишить меня зрения.

## ИСПОЛНЕНИЕ ЗАРОКА

Я живу за городом, под Москвой, уединенно — у меня нет ни родителей, ни детей, ни любимой женщины. На псарне радуются сытости несколько дорогих мне дорогих собак. Сильная, красивая бестолочь. Лучшая из них — бесплатно мне доставшаяся мужественная дворняга — приبلудилась сама собой на манящий кобелиный запах. Нащенила от моих благородных медалистов целую свору энергичных обаятельных уродцев, в каждом из которых проглядывает почему-то фокстерьер... Кровь у них должно быть не красная, а алая с золотой рыжиной — для пущего задора. Собаки меня любят: на то они и собаки, чтоб любить. Не люди все ж таки.

Я постепенно отхожу от дел, бизнес меня уже не горючит, как горючил совсем еще недавно. Все крутится, конечно, не само собой, но основные деньги уже сделаны, и их столько, что я могу позволить себе риск — для возбуждения людоедского аппетита. Сожрать человека приятно, что ни говори. Это, может быть, единственное удовольствие в остывающей жизни. Кроме, может быть, благотворительности, хоть это и смешно звучит.

Ну, посмейтесь.

Бизнес. Нет, правду сказать, бизнес все же тонизирует. В нем упругая всегда интрига, вот ради интриги я, кажется, им и занимаюсь. Не из-за денег, хотя деньги, конечно, и есть концентрированная социальная интрига. Возьмите любую сделку... Типичная, в моем теперешнем понимании, интрига выглядит так: вот кто-нибудь из новых, молодых да ранних, приподнимает голову, вот он влез на больших политических протек-

циях, как на ходулях, в бизнес. Будто голый в парную, не боясь обжечься. Вот он чего-то якобы достиг. Вот он начинает меня теснить — в моем (в моем!) секторе московского рынка. Я не люблю тесноты.

Но я люблю, когда меня теснят, мне становится интересно жить! Я борюсь — по правилам, всегда по правилам, тем более что я в числе тех немногих россиянцев, которые эти правила выстрадали в свое время. Перекупаю тех, кого он купил, это в русском бизнесе самое главное и верное средство для победы. Еще раз перекупаю тех, кого он перекупил, когда я их перекупил. Рассаживаю их на длинных скамейках в сварных клетках по судам. Выпускаю их по амнистии. Я никого не заказываю (и вам не советую). Это, поверьте мне, дурной вкус. Я их... обессиливаю до полной анемии. Я конкурентов, говорю, ем, перевариваю, высасываю мозг, вытигаю белые ниточки нервов, опустошаю морально, облегчаю материально, развожу с женами. Я довожу дело до того, что все они, ввязавшиеся в борьбу и втянутые в нее моей волей, ничего уже, бедняги, не понимая, растерявшись до крайности, скуля от боли, приезжают на стрелку ко мне за город. В мою русскую Отраду.

Их машины стоят у тесовых ворот, в тени забора красного кирпича (что твоя кремлевская стена!). Ждут. Час, другой... Из врезанной в ворота дверки выходит почтенный инвалид, шаркает метелкой. Они опускают стекла, ждут. Он подходит поочередно к каждой машине, говорит с особой доверительностью: завтра. Завтра приезжайте в тот же час. Вас примут.

Уезжают, выстраиваясь в ревнивую колонну, кто вперед, кто позади. Кто вперед, того кошка задерет. Потом кто-нибудь не выдерживает, возвращается. Стоит. Ждет. Выходит мой добрый старичок, метет дорожку от тесовых ворот до машины. Уходит. Выходит через час и говорит ждущему недоноску: сказано вам, господин, завтра, стало быть, завтра. Чего ездют, ворчит, чего ездют?

Назавтра все они съезжаются вновь, получив, каждый, мое личное, по телефону, приглашение. Стоят, ждут. Ворота распахиваются, выбегают породистые псы, приподнимают задние лапы у задних колес... Дворняга только не безобразничает — что значит хорошее воспитание!

Тут-то гостечки и понимают с ослабляющим, до энуреза, восторгом: прощены....

Я всех мирю. Отпускаю им грехи.

И они счастливы, как счастлив бывает врожденный паралитик, впервые шевельнувшийся мизинцем. В этот миг ему кажется, что у него скоро член стоять будет, но это вред ли.

Они разъезжаются умиротворенные, растроганные моей добротой, вдохновленные моей мудростью, сладостно ощущая, насколько они все же устали и как, черт побери, заслужили достойный тихий отдых с небольшим фейерверком под черным каким-нибудь иностранным небом.

Тут недалеко до аэропорта, ну, они и улетают по Шенгену, и я, когда слышу ночью или на следующий день бархатный, музыкальный рев «боингов», лежащихся на курс, всегда мысленно говорю: летите, голуби.

Мне не тесно.

...Еду к себе домой, сижу за рулем, охрана (зачем она мне?) преданно сопит за спиной. Ночь. Тревожно что-то мне на душе, и откуда тревога — я не понимаю. Наверное, я за новых русских тревожусь, как-то они там, свинятки мои. Радио бормочет, поет, какая-то реклама наглая (зачем она мне? Надо против рекламы какой-нибудь закон...) И вот вдруг — интересное, сделаем погромче: два часа назад из расположения подмосковной воинской

части бежал солдат срочной службы... розыск... после избиений... дедовщина... перед отправкой в Чечню... реклама на нашем канале!

Реклама на вашем канале, так вас распротак!

Если бы он мне встретился, я бы его оставил жить в Отраде. Наверняка паренек откуда-нибудь из колхозного средневекового села, где на мыло денег нет. Из такого же села, из какого и я когда-то вырвался, как Ломоносов в МГУ.

Как они там живут, на бескрайних просторах? Своим воронежским папестинам я помог: тракторов купил, церковь отстроил. Батюшку туда подобрал через патриархию, чтоб все по-человечески. Денег посылаю. Стипендии даю, кто прорвался учиться. Стал там почетным гражданином родного села. Запретил ребят в Чечню призывать, все служат в своей губернии.

И это, кажись, все, что я сделал хорошего в жизни.

Не знаю, больше ничего не припоминается. Разве что несколько полураздавленных гадов, но это спорно. Они ведь все живы, у них у всех дети, в отличие от меня. Да, еще одно когда-нибудь зачтется: я дал доллары на Храм Христа-Спасителя. Несколькими траншами, от разных юридических лиц. Но кому надо, тот знает имя жертвователя. Оно, кстати, есть там, в храме, в списках на стене.

— Вот он!

Посреди дороги солдат с автоматом. Ногой по тормозам, стал мой конь как вкопанный.

— Не стрелять, — это своим.

Высовываюсь в окно и ору ему:

— Не стрелять!

Хорошие у меня фары: парень ослеп уже, щурится, но автомат не опустил, и палец, вижу, на спусковом крючке.

— Не стрелять ни в коем случае, — это очень тихо, своим. — Я выйду сам.

Откуда-то пистолет у меня в руке (зачем он мне?).

Я выхожу, бросив пистолет на сиденье, поднимаю обе руки, иду к нему молча, тихо.

— Стоять!

Голос! Вот это голос! Прямо Басков какой-то!

— Чего ты кричишь?

— Стоять, я сказал!

— Пошел ты на хрен!

Я разворачиваюсь и иду к машине. Ну что, вот сейчас, наверное. Вот сейчас он не выдержит. Вот...

— Обождите!

Ну точно, деревенский! Я сажусь в машину, опускаю стекло. Он опускает автомат, тихо, осторожно подходит, чего-то мнется.

Он наклоняется и спрашивает: «Куда ведет эта дорога?»

И получает страшный удар дверью по морде, и вот уже лежит рожей в асфальт, и мычит, щенок этакий, от боли, а в следующие секунды я оттаскиваю от него своих зверей, чтоб не забили насмерть.

— Посадите его в салон.

Затащили, зажали между собой.

Поехали, как сказал бы Гагарин.

— Куда тебя отвезти, какая тебе дорога нужна? — спрашиваю я.

— Теперь все равно куда. Куда ни повезете, все равно там буду, откуда вышел.

А откуда ты вышел?..

«...Выпуск новостей на нашем канале! Два часа назад из расположения подмосковной воинской части.... перед отправкой в Чечню...»

Я из Чечни вышел...

Как из Чечни? Это же о тебе сейчас... О тебе?

Обо мне. Я в Чечню второй раз не хочу.

А чего же ты хочешь?

Жить.

Озадачил. Надо ли ему — жить-то?

Подумал и сказал: «Живи. Если хочешь».

...И собаки на него не залаяли! Чудеса, право слово, чудеса. Чего они не залаяли? Мой инвалид измазал его зеленкой, выпарил в бане, сидим и ужинаем.

— Почему ешь мало? Тут все природное, деревенское.

— Деревенское? А эти вот... не знаю, как назвать?

— Осьминожки там. Мидии. Морская тварь всякая. Не переживай, из наших морей. Считай, морские грибы... Деревенский сам?

— Деревенский. Я в бане поел. Там было на столе.

— Дурак, что там было, то собакам.

— Мясо — собакам? Богато живете.

— Богато. Хочешь так жить?

— А что, есть такие, кто не хочет так жить?

Сказать ему — кто не хочет так жить? Нет, рано, не поверит.

— Ну, раз хочешь — значит, будешь. Девушек хочешь?

Вытаращился.

— Ну в смысле женщину.

— Типа проститутка?

— Типа проститутка.

— Да я нынче битый! Вы ж меня сами дверью.

— Я зря не бью.

— Понял уж.

— Хочешь проститутку? Честно?

— А потом что?

— Ничего. Чистые девочки обычно.

— А кто платить будет?

Вот кулак!

— Фирма будет платить.

Задумался.

— А можно деньгами?

— Что — деньгами?

— Проституткины деньги чтобы мне. А я потом отдам.

— Ты, брат, идиот, — говорю я. — Деньгами ему. Девушку я тебе дарю, а деньги-то кто же дарит?

— Да мне деньги нужны. Очень. Много. Дайте...

\* \* \*

Солдатам-побирушкам не дают много денег, да и просить стыдно. Я бы и не просил ни за что, но жрать охота. Не то чтобы я голодный, хотя и такое бывает. Я хочу в «Макдональдс», с понтом. И не только в «Макдональдс», есть места покруче. Чтобы приехать домой и сказать: я в Моск-

ве в ресторан ходил! Такая служба была, что ты! И никто не поверит, ну и ладно. Важно, что я сам буду знать: был!

Я служу под Москвой, и никто меня не бьет, после Чечни-то! Сам кого хочешь, только не хочу уже. Того, что снится, на всю жизнь хватит. Того, что было там, откуда сны теперь летят.

Я, может быть, хочу работать в Москве, а жить под Москвой. Может быть. Когда-нибудь. Как он. В своем собственном дворце с собаками (нынче собаки меня сразу признали, даром, что дверью битый, ни одна не гавкнула). Потому что я деревенский. Всю жизнь с собаками. Это когда я первый раз пришел, они взлаяли, почуяли чужого. А я им мясца парного через забор! Свинины с Рижского рынка. На которую деньги собирал как побирушка. Даром, что сытые, но покажите вы мне такую собаку, чтоб на свежем воздухе ночью от парного мяса отказалась. На которое я деньги у москвичей выпрашиваю. А если раз в неделю собакам мясца, а то и два раза, то быстро собаки привыкают. Вот же, привыкли. Дармоеды они, конечно, и толку от них — ноль. Часть моя стоит в двух километрах от дворца, рукой подать. Летом я через забор — и прощай до утра армия России! Кто куда, а я сюда. На дерево с биноклем, после Чечни остался у меня бинокль-то. Наблюдаю его жизнь. Ищу подходы. Во дворе иной раз машины ночуют, в машине нет-нет да и найдешь чего. Один раз бабки достались, в пиджаке лежало портмоне это, с деньгами. Взял малость русских, там много было — не ubyло, а доллары не брал, потому что за них спокойно убьют.

Он крутой. Такой дворец поднять, что ты! Видать-сказать, одинокий человек, раз бабы к нему ездят. Не с «Ленинградки», тех-то я влет отличу, те — как наши дома. Тоже служат, стоят. А эти — чисто тайт. Лебеди. Мне б такую.

А по жизни могли самого наклонить, на первом году, да я не дался. На смерть бы пошел, а не дался бы я им. Но не до смерти били, брехать не стану. Зато мне потом ответил кое-кто, помнить будет. Два года я, стыдно сказать, на самообслуживании, один раз только откололось, на той же «Ленинградке». Спасибо девочке, что пьяная была. Добрая. Наша, из Нечерноземной зоны. Лили назвалась! Смелей пили...

Тачка у него ураганная, «американец», куда там мерседесу против такого. Носится тихо, как смерть. Вообще хорошо, что тишина тут, в Отраде. Иной раз колокол в часовне во дворе прозвонит, а так — тихо. Инвалид тоже тихий. Не узнал он меня, и хорошо. Не запомнил с лета, а мог свободно. Летом он меня видел, удивился, что собаки не кидаются, а я спросил: как к остановке выйти? Типа заблудился. Десятку мне дал. Он один был дома, собаки меня знают. В доме всего — море! Господь Бог отвел от греха.

Лежу вот на чистых простынях в роскошной комнате. Здравствуй, Отрада! Все идет по плану.

\* \* \*

Парень прижился у меня, будто всегда тут был. Ведет хозяйство, инвалида незаметно потеснил, но тот не в обиде, его инвалидская, как бы мажордомская, служба после освобождения от бытовых сует стала еще почетнее. А этот, дай волю, начнет у меня тут картошку выращивать. Озимые будет сеять. К чему его всерьез приспособить, покамест не ведаю. Надо сказать, что после первого нашего контакта на дороге я потерял к нему интерес. Он — выпал, ни для чего мне не нужен. Разве что язык по-

чесать на ночь глядя, да и тут не суперкласс: таится чего-то от меня деревенский дипломат. Изучает, вижу. Мыслит. Следовательно, существует.

Я его вчера сильно, по-настоящему, напугал. Поднялись с ним на третий этаж, фактически под конек крыши, там у меня специально оборудованная каморка. Для контроля за окружающей местностью... На всякий случай. Оружие, оптика. Сейчас эта логика, мой дом — моя крепость, представляется архаичной, но крепость-то строилась в начале девяностых. Легендарные времена. Потомки будут их изучать, все ж таки начало, заря новой России, извините за выражение. Долго, правда, не рассветает, но, товарищ, верь! Взойдет она!

— Отсюда я мог тебя, как белку, снять. Одним выстрелом. Вот из этой хотя бы игрушки.

Как он побледнел, Господи!

— Пока я по дому перемещался, ты, я знаю, сидел на дубу и смотрел по окнам в бинокль. А потом я поднимался сюда и рассматривал тебя через оптический прицел.

— Почему вы не выстрелили?

— Потому что тебя пожалел.

— Вы настоящую причину скажите мне, если можете: почему вы в меня не стреляли?

— Пойдем вниз выпьем, чего ты разволновался.

Внизу я говорю ему: не стрелял потому, что ты никогда не приходил с оружием. Это означает, что ты не собирался меня ограбить или убить. Какой-то, значит, другой интерес есть. Какой? Мне это очень интересно. Настолько мне это интересно, мой друг, что я даже спас тебя на дороге от быстрой смерти. Которую ты заслужил, между прочим. Ты был даже не на волоске, я уж волосок-то перерезал...

— Да вы ведь и сами под мой автомат пошли! Зачем-то.

— Это мое дело, не твое. Ты тоже прекрасно знал, что у меня охрана со стволами. Для чего тебя выперло на дорогу?..

В сущности, зачем мне его беречь? Кто он? Чей? Зачем следил, зачем вышел на трассу? Что он тут делает, помимо того, что картошку чистит?

— Я хотел в ваш дом попасть.

— Да для чего, черт тебя подери? Отвечай, пень, внятно!

— Попросить денег.

— Ну, проси, мать твою! Проси!

— Нет, я сперва скажу, почему не по-людски сюда пристал.

— Почему же, любопытно.

— Выгнали бы вы меня со смехом. Как побирושку. А так — я вас в шок ввел. Через автомат. В интерес загнал. Вам же интересно сейчас со мной.

— Да мне и без тебя нормально было. Поверь уж.

— Нет, я имею в виду, что вот сидел тут сколько раз на дубу под прицелом, подставлялся под вашу снайперскую винтовку нарочно...

Час от часу не легче. Кому рассказать — не поверят. Хорошо хоть, что некому рассказывать.

— Ты что же, хочешь сказать, знал, что я тебя видел?

— А то! — заявил он с гордостью.

— Подожди, — говорю ему, — дай осмыслить. Давай-ка выпьем, потом продолжим.

— Мидии открыть?

Не прохвост ли!

Прекрасно я знал, что он в меня не выстрелит из винтовки, прекрасно я знал, что и на дороге он меня не убьет. Кто сам смерти не боится, тот убивать не будет. Прекрасно я знаю, кто он такой. Он уже не в азарте, ослаб гореть. Ходит в часовню молиться. Проституток туда водил; потом, по трезвянке, звонил, срамник, батюшке, спрашивал, можно ли, дескать, их в часовню водить молиться? Глупой. Почему нельзя? Мы чем лучше их-то?

Пожертвовал суммы на Храм Христа Спасителя, его там фамилия, я разузнал в Храме.

Даст он мне сто тысяч долларов?

Всенепреренно.

Я отослал своего дезертира вместе с инвалидом в соседнюю деревню, смешно сказать, за антоновкой. Пора уж ей быть, дело к осени, бассейн вон желтым листом покрыт. Слить его необходимо сегодня же, а то льдом схватится.

Я залез на дуб, на ту ветку, которую он летом выбрал, и осмотрел в бинокль открывшиеся виды. Нормально. Просматривается (простреливается) одна из спален, каминный зал, угол кабинета, где домашний сейф. Значит, знает.

Ну, так и я знаю, что у меня, у меня он, голодный, корку хлеба не стащит.

Почему-то он больше не говорит о деньгах.

Нет, видно, уж не будет этому конца, и так я и буду мучиться, пока... Пока что?

Специально я вчера наломался до упора, копал землю в саду (а подзапущен сад-то!), сухие яблони порубил, попилил, пожег, думал — устану, усну во благо, но нет, нет блага мне. Нет.

За что мука? Я ведь в Чечне ушей не резал. Я был снайпером, всегда видел — кого. Знал — за что. За кого. Лучше бы снилось... не так, как было, а то ведь я словно кино смотрю из своей жизни, и не переиграть уже ничего, не пережить иначе.

И что мне снится?

Вот Коля, друг мой, снайпер тоже, сидит на дубу и работу свою не работает, кончились патроны (сон же!), а я снизу, по поросшему кустами крутому склону иду его как будто бы сменить (хотя у меня и свой дуб есть). Одна тут дорожка, и он ее знает, меня видит наверняка, тем более что ждет, и прячусь я не от него, а от чеченской пули.

В орешнике я чуть замешкался, горсть орехов набрать, и слышу — смех наверху. Под дубом.

Они сняли его! Сняли, суки!..

Коля лежал без сознания: разбился, падая. Пуля попала ему ниже сердца. Может быть, и живой еще был. Я видел через оптику, что человек шесть их набежало, кружили чего-то над ним, я думал — перевязывали. Захватить снайпера — ого! За это дело им премию дают.

Потом чего-то они затихли, стали кругом, один на камеру снимает. Колю мне не видно снизу, он лежит. Один из них стал так на колени, как-нул гортанно, и они так закричали с торжеством.

И что-то катится, подпрыгивая, ко мне по склону, прошуршало травой — и остановилось, наткнувшись на кроссовку.

Колина голова.

Отрубленная голова. И крестик со шнурочком во рту.

Двоих только и положил я за Колю, остальные успели залечь, и не видно мне их было, как они отползали, и они меня не видели, думали, что с дерева я их снимаю.

Я вынул крестик из Колиного рта, спрятал.

И дал я зарок.

\* \* \*

Отрада, имение в Подмосковье. Тихая вечерняя беседа у нас течет, барин толкует с человеком.

— Ты знаешь, что ты дезертир? Нет, я без осуждения. Я к тому, что тебя ведь ищут.

— Да не особо ищут, не думайте.

— Ты с оружием бежал, а тут все же Москва под боком. Насчет терроризма тут строго.

— Ни с каким оружием я не бежал.

— А автомат?

— Автомат мой в оружейной комнате, в роте остался.

— А с чем ты на дорогу выходил, с рогаткой?

— Это запасной, о нем никто не знает.

— Да все равно ищут.

— Никто меня, говорю, не ищет!

— Да почему?

— Потому что мой военный билет нашли, а меня нет. И костей нет.

— Поясни.

— Когда я сорвался, друг мой хороший, в части, угнал бензовоз и в лесу подорвал. А я раньше специально трепался, что угоню бензовоз, бензин толкнуть. Выходит, подорвался я. Мокрого места от меня не осталось.

— Слабенькая версия.

— Сойдет по сельской местности. Я с ним созванивался, говорит — не ищут.

— Как созванивался?

— С вашего мобильника звонил в Москву его дяде, он в курсе, все передал.

— Дядя уже в курсе! У него АОН не стоит?

— Нет, определителя нету. Дядя честный мужик.

— Ну ладно, а как ты домой-то явишься?

— Приду как дембельский человек, и все дела.

— Туда наверняка запрос был.

— Ну и что? Скажу — однофамилец. Я же не скрываясь приду.

— И все-таки.

— Деньгами рты замажу. И говорить даже нечего.

Вот мы и добрались до денег. Только на это я ему денег не дам.

Как мне ему правду сказать?

Кто мне поверит, если я идиот идиотом? Провернул такую комбинацию — для ради чего? Он же бизнесмен, с его точки зрения мой план дерьма не стоит, не то что денег.

Но, может быть, и поймет. Ведь чужая душа потемки, потому и интересно туда заглянуть. А я сам открываюсь: смотри.

Вдруг себя увидишь. Может, легче станет.

Смотри!

Я дал ему сто тысяч долларов. Плюс немного сверху, после уточнения сметы. Не мог не дать, и денег мне не жалко. Смету он представил обстоятельную, и я понял, наконец, для чего его можно приспособить в моем бизнесе. Паренек с головой, надо позаботиться, чтобы он остался жив. Для этого следует убедить его отказаться от исполнения последнего пункта его плана, со всеми предыдущими я целиком согласен.

Деньги он предполагает, и так и сделает, потратит следующим образом. Прежде всего, поехать на родину к этому погибшему Коле, помочь там старикам и построить в селе у них небольшую церковь.

Второе: он решил откупить от призыва в Чечню знакомых ребят, кому идти из его деревни служить в ближайшие два года. Не хочет, чтобы они сложили головы неизвестно за что.

Третье, и это и есть лишний, с моей точки зрения, пункт: он хочет купить себе крутую снайперскую винтовку.

«Я в Чечню второй раз не хочу!» Как же, слышали!

Вот его логика: он, когда о нем подзабудут, поедет контрактником-снайпером в Чечню. Полагает там «отработать» за весь призыв своих земляков. У него опыт. И счет есть неоплаченный. Зарок. А ребята пусть служат там, где головы живым не рубят.

Через неделю начнется дембель, начнут отпускать по домам и из его части. Тогда я и отвезу его на вокзал. Сам, так целей будет.

Ночью я встал, помолился перед образом, собрался. Да все уже было собрано заранее, потому как в таком деле лучше быть аккуратнее и все предвидеть. А что я должен был предвидеть? В чем не промахнуться?

Нельзя ни при каком раскладе мне его подставить, погано это было бы, не по-людски.

Допустим, патруль меня вряд ли остановит. Одет я средне, в глаза не бросаюсь, стрижка гражданская, портфель-дипломат в руке.

Милиция? Паспорт. У меня физиономия будет вместо паспорта. Ни разу я не видел, чтобы милиция остановила того, кто читает журнал или хотя бы несет под мышкой тройку газет. Интеллигенции доверие.

Билет на вокзале как купить? Сейчас опять же паспорт спрашивают. Уболтаю, скажу, что забыл дома. В крайнем случае, я думаю, шоколадных конфет кулек. Коробку.

Павелецкий вокзал большой, метро чуть не на перрон выходит, касс много.

Деньги. Никак иначе, кроме как в этом вот дипломате, в таких ерунду всякую носят или книжки. Рубли в кармане, ограниченная сумма, на дорожку.

Кажись, все.

Благодарственную записку я оставляю на столе ему, утром найдет, я буду уже далеко. Поймет. Так или иначе, а когда-нибудь мы свидимся с ним, выпьем под мидии да осьминожки. За отечественный бизнес.

Присаживаюсь на дорожку. Молчу.

С Богом!

\* \* \*

Он вышел, плотно притянув за собой дверку в тесовых воротах, повернулся, оглядывая в последний раз Отраду: дом под медной крышей, запорошенной снеговыми искрами, и впрямь смотрелся дворцом. Псы не выскочили проводить, дворняга же почуяла его, дружественно гавкнула разочек. Прощай и ты, милая собака!

Переморгнул влагу в глазах: куда иду, зачем? Скоро начался бы тут день. Промел бы дорожки от снега, стал бы поленья колоть для камина, инвалид бы принялся ворчать бессмысленно.

Но надо ехать.

Дошел до поворота на главную дорогу, подсел на попутку-«Волгу», но до Москвы сразу не получилось. Пришлось на трассе опять голосовать.

Подобрала его старая иномарка.

В салоне почувствовал он какой-то запах. Травка... Понятно.

— Чего у тебя в дипломате?

Шальные ребята попались. Не хочется грех на душу брать, как не хочется.

— Пустой. Книжек пара.

— Дай-ка его сюда, посмотрим, что за книги, — тот, что сидел рядом с водителем, перегнулся через плечо, потянулся за дипломатом, нечисто дыхнул в лицо.

И уперся лбом в пистолетное дуло.

— Ты чо, сбесился? Мужик, ты чо!

— Останови машину.

Остановились. Вышел.

— Пикнете, — перестреляю.

И прострелил им шину, чтоб в погоню не пустились.

Отвернулся на миг на дорожку — свинцовая автоматная струя перекрестила его до пят.

\* \* \*

Осенью следующего года ясным бодрым утром начал он на своей коляске привычный маневр: машины стали на красный светофор, он крутнул руками колеса, выкатился между рядов и поехал, ожидая, что кто-нибудь опустит в машине стекло и даст денег.

И так доехал до длинного отрадненского «американца».

...Он выскочил из-за руля, выхватил калеку из коляски, прижал к себе безногое его тело, закричал: «Ты! Ты!..»

Я.

Он.

## ТЕРРОРИСТ

*Вчера по зданию посольства США неизвестным  
был произведен выстрел из гранатомета.  
Разрушений и пострадавших нет.*

Из газет

Надо бы, наверное, к психиатру... Или, может быть, к Богу. Утром я просыпаюсь один, всегда один, даже если с вечера шлюха и грелась на моем плече. Оказывается, и эта сласть приедается. После того как Мила осталась в Штатах, у меня долго никого не было, и смотреть на женщин я не хотел. Они когда-то раньше были в жизни — от скуки; сначала «товарищ по работе», Зойка, с которой после короткой механической любви мы о работе же и говорили. Потом опять была пауза, а уж позднее я серьезно открыл для себя платную любовь. Она появляется у мужчины не тогда, когда есть лишние деньги, а тогда, когда жизнь его сужоживается до денег. Собственно, это и случилось. Компания, где я сидел довольно-таки высоко, «заработала» на перманентном «восстановлении» Чечни немерено. По принципу — кому война, а кому мать родна. Что-то мы строили. Куда-то перечисляли деньги. Не моя сфера напрямую. Прозрел я насчет истинных наших дел гораздо позднее, в Саудовской Аравии и в США. Позже об этом. Я еще хочу все-таки жить. С кем там заигрались Штаты, какой их Бен Ладен достал — это дело для меня пятое. Тем более что я пишу сейчас о том, что случилось задолго до уничтожения нью-йоркских башен.

Кирпич денег бухнулся и мне на колени, чего я не так уж и ждал, но деньги пришли. Моя работа была — общественные связи, то есть давать журналистам интервью, красиво пиарить наш жестковатый бизнес, а по сути — ставить дымовую завесу. Никаких интервью без бабок не бывает, и тут я, признаться, заигрался со сволочами-редакторами да и с собственным начальством. Но жадность фраера не сгубила. За 14 минут эфира в «Отражении» я давал 16 тысяч долларов, а списывал 32. Кто проверит? Никто. Таких заходов было в лучшие времена до четырех в месяц на разных каналах. Газетно-журнальную мелочевку опустим. Делался еще фильм про наши благотворительные и созидательные подвиги, отсюда пришел откат — 50 штук. Были премии, цифры не привожу. Реальные тоже деньги. И был плохой знак, вот этот самый кирпич — символ большой посвященности в большие грехи. Наличными меня повязали лучше, чем счетом в Швейцарии. Счет доказать невозможно, а как мне кейс вручали — это уже капкан. Пленочка где-то лежит, ждет-пождет своего часа. Вернее, лежала.

Разумеется, разумеется, были там, на пленках, интерьеры элитных московских бань. И закрытых салонов. И спален в нашей фирменной вилле во Франции — там в лучшие времена проводили выездные совещания. По-русски — без жен, но с женщинами. Украинки, молдаванки, русские — хорошие девчата, но я как-то умудрялся уворачиваться. Творческому человеку до поры разрешалось этим манкировать, но только до поры. Однажды в Ницце пришла ко мне пара, блондинка и брюнетка, уже после ресторана, и держали девушки такую речь: мы без любви не уйдем, потому что сказали нам, что больше сюда не вызовут, если вы нас не отлюбите обеих. За вас заплатили, господин.

— Это за вас заплатили, — уточнил я.

— Нет, за вас, господин, — спорили девушки.

— Так кто ж тогда я, проститутка, что ли, выходит?

— Не надо у нас хлеб отбивать, — всерьез почти обиделись.

Уходя, блондинка с брюнеткой шепнула мне, что, наверное, нас снимали на видео, так им чутье подсказало. За чутье я расплатился, женщины не обманывают. Понятно, мой шеф им велел сказать мне про это самое видео. Чтоб знал свое место и не выпендривался.

Быть белой вороной тяжело, а я-то себя голубем мнил. Парил якобы, а хвост от птичьей известки стал серо-фиолетовый.

Я возвращался в Москву, спал с женой, поражая ее и вдохновляя даже не на секс — на благодарное ответное чувство, и мне казалось, что она меня любит. Вопрос о том, умеет ли она любить — сердцем — не возникал. Умеет. Иначе бы не ушла.

Я понял, что скрыть от женщины ничего нельзя, даже мысли о другой женщине. Что-то остается. Неуловимый аромат предательства. Терпкость во взгляде. Неторопливость в постели, а любящий ведь всегда голоден и приятно для женской души тороплив. Хотя бы сначала.

И вот, вдохновляя любимую женщину, я не догадывался, что ей все давно понятно про мою «чистоту» и глубоко безразличен я ей, но — о, искусница! — меня она за нос водила виртуозно.

Работая в разных, но корпоративно близких командах, мы были коллегами, тусовались в одних и тех же компаниях, и нас, бывало, даже знакомили друг с другом. Так получилось, например, на приеме у посла США, в «Спасо-Хаусе». Я был представлен какому-то respectable чину, он поблагодарил меня за созидательные усилия в разрешении чеченского кризиса. И усмехнулся. Спасибо большое за благодарность. И без того дерьмом себя чувствую.

Пидорас!

Через минуту после этого я был церемонно представлен собственной жене! Вот что значит — не так тесен мир, как тонок слой.

После этого «знакомства» с собственной женой, мы рванули к себе на Чистые пруды, причем играли такую игру: я ее якобы «снял», вез к себе и брал, как берут в первый раз новую любовь, а она разыгрывала, не без умысла, теперь я понимаю намек, элитную проститутку. Я принимал правила занятой игры, называл ее «б...» и спрашивал, может ли она приехать в другой раз с подругой.

— И с негром? — спрашивала она. — С мальчиком-негром? Ты, милый, не пробовал такую комбинацию?

Я рычал и бил ее. Ей нравилось.

А мальчик-то был. Был посольский «мальчик»-негр, и однажды я засек их в дорогом клубе. Ни в чем сомневаться не приходилось. Я не поехал ночевать домой, вернулся в офис, позвонил ей на мобильный, передал привет негру. Снял номер в хорошем пансионате за кольцевой дорогой. Познакомился с чеченом и намекнул ему, что есть работа.

Негр стоил много — 5 тысяч долларов, жена пошла за 2,5 тысячи.

У меня была высокая температура, но врача я к себе не допустил. Чеченец отпаивал меня коньяком, к утру я передумал их убивать, с чеченцем расплатился и попросил его забыть, как меня зовут. И вообще все забыть. Он посмеялся, назвал меня братом.

Мы зажили как ни в чем ни бывало, хотя все сломалось, и игры наши, и ласковое слово — все ушло.

Время от времени звонил мой чеченец, спрашивал, нет ли у меня тем-

пературы? Я ему отвечал погаными словами, а он терпел: у бандюков гордости нет. А однажды он все-таки не стерпел и сказал: я тебя, русский, наверно, закажу. Чтоб самому об тебя не мараться. Несмотря на твои заслуги перед нашей свободой. Ты уши свои съешь, собака!..

Уши жалко. Ношу пока что на себе.

Я полетел сначала в Саудовскую Аравию, потом в Штаты по приглашению партнерских компаний. Мила, так совпало, оказалась в Штатах одновременно со мной, и все, помню, ворковала, как замечательно вышло. Отлично вышло, потому что у нее-то никакой командировки не было, а был короткий отпуск, и, значит, держала она в себе какой-то план, а какой — я предполагал, какой. Только удивлялся — надо же, неужели так полюбила своего черного приятеля. Этого быть не может. У них в Москве было три встречи. На всякий случай взял с собой специального человека редкой профессии, который должен был за ней присмотреть по моей горячей просьбе. Просто он должен был сорвать любую их встречу. Любую. Не допустить. А уж дальше я бы разобрался до конца с семейным вопросом.

Мой специалист допустил непоправимую ошибку, но об этом потом.

В Нью-Йорке я понял, сопоставив факты, что фирма заигралась не на шутку. Какое там «восстановление»! Делишки наши, оказалось, были с кровью пополам: наркотики, оружие, импорт арабских боевиков в Чечню, транзакции — вот почему денег мне давали несообразно много! Вот во что я вляпался! Во что я вляпался?! Неясного происхождения, но очень большие деньги на Чечню шли через нас! И теперь выходило, после московского воровства, что арабская и штатовская конторы в стороне, а мы — мы засветили финансовые вливания! Да так мощно засветили, что косвенно тень могла упасть на уважаемых партнеров. Этот вариант их никак не устраивал. США — это государство, имеющее глубокое понятие о своей чести. За все должны были теперь рассчитаться мы. Партнеры связались с Москвой и сказали боссу, что ввиду срочности дела они рассматривают меня как полномочного представителя фирмы, с которым и ведутся соответствующие переговоры.

Переговоры шли грязно. Реально возникла для меня перспектива позижненной американской тюрьмы — кто-то должен быть очевидным козлом отпущения, тем самым «русским мафиози», которыми здесь детей пугают. Милу обещали разложить по гамбургерам, а с присматривающим за ней моим специалистом так и поступили: его труп был обнаружен утренним бегуном в Центральном парке. Пресса сработала четко: русская мафия, погрязшая в Чечне, разбирается между собой на священной земле Америки, в сердце цивилизованного мира. Как в плохом детективе мне было сказано, что американские друзья долго решали, кого упокоить под вязами — меня или моего друга. Карта легла в мою пользу. Пока. Но ничего пока не закончено.

У меня было свидание с Милой, через стекло по телефону. Она сказала деревянным голосом: я остаюсь. Меня здесь оставляют.

— С ним? — спросил я.

— Нет. Он просто через меня... Они тебя психологически просчитали, что ты слабый... Что ты все сделаешь, как они скажут. Потому что у тебя слабая воля. Я только здесь про него поняла до конца. Я сука, я сука... я не прошу прощения!

— Я слабый? — спросил я. — А ты-то знаешь, кто ты?

Она как умирала на моих глазах, за стеклом.

— Кто я?

— Гадина ты. Дура. Моя жена, — я не понял, почему сказал ей это.

Все, разумеется, снималось на камеру. Я привык жить под камерой, и никакой дороги назад мне не было.

— Петр, вы держитесь мужественно, — сказал американский друг. Пошел бы ты!

Давили они страшно, и план предложили такой: я возвращаюсь в Москву и докладываю вопрос в своей конторе. После этого контора должна исчезнуть. Навсегда. Деньги следовало перевести в Женеву, на известный счет. Все. Плюс проценты. Шефа надо подставить киллеру, потому что шеф может дрогнуть. Предварительно следовало зачистить весь внутренний компромат, убить все файлы, сжечь пленки и документы, потому что там есть, видимо, досье на американских партнеров.

— Я тоже могу дрогнуть, — сказал я.

— Вы — нет. Вы любите свою жену.

— Что с ней будет?

— Она нам не нужна. Вернее, нужна — вы выполните нашу просьбу и получите ее целой и невредимой. Пусть пока погостит в Штатах.

— Она заложница?

— Yes, sir!

— Мне нужно еще одно свидание.

— Хорошо. Пять минут. Достаточно?

— Да.

Пять минут мы с Милой молча смотрели друг на друга. Не то прощались, не то я любил ее в последний раз.

Я знал, что в Москве мне ни в каком случае не выжить. Шила в мешке не утаишь. Вопрос, кажется, следовало решать радикально.

Я связался со своим чеченцем, заплатил ему огромные деньги и принес в свой офис в компании два дипломата с взрывчаткой. Кое-что мною было сказано шефу, но далеко не все, и однажды он назначил совещание, отпустив обслуживающий персонал, чтоб не было лишних ушей.

За овальным столом нас было пятеро. Совещание сразу пошло не по повестке дня.

— Где твоя жена? — спросил с места в карьер шеф. — Людмилу где прядешь?

— В Египте, по-моему. Купается, — ответил я.

— А по-моему, ты ее в Штатах оставил. Вопрос — зачем?

— Мы фактически в разводе.

— Ложь. Принеси, пожалуйста, заграничный паспорт.

Я сходил в кабинет за паспортом, шеф взял его и вырвал страницу с годовой американской визой.

— Все, брателло! На, звони ей, вызывай в Москву, — протянул мне телефон.

— Мне некуда звонить, — я посмотрел ему в глаза.

— Я знаю. Она у партнеров, ждет, когда ты нас сдашь фээсбэшникам и к ней рванешь. На свиданку у статуи Свободы. Только, родной, ты не успеешь. Мы тебя сначала выпотрошим тут, как гуся, а потом похороним с некрологом о безвременной потере от рук неизвестно кого. И ее там, понятное дело, прикопают за ненадобностью. Так что решай что-нибудь. Колись, короче.

— Ладно, сдаюсь. У меня есть аргументы в мою пользу. Я там кое-что записал на диктофон для вас. Хотите послушать?

— Где пленка?

— В машине.

— Две минуты у тебя. Бегом давай.

Я спокойно вышел из кабинета шефа, выскочил на улицу, сел в машину, отъехал на три квартала. Потом нажал крохотную кнопочку на игрушечном пульте.

Старинный, добротнo отреставрированный особняк — памятник московской архитектуры — взлетел на воздух, подняв громадные клубы красной кирпичной пыли. Для всего мира я исчез, я умер вместе со всеми. Меня было некому искать, да и бессмысленно было что-то искать в пламени взрыва и пожара.

За день до этого я съездил в аэропорт и договорился с верным человеком, что буду звонить ему и спрашивать нечто условное, а он также условно ответит мне, когда прилетит, если прилетит, Людмила С.

Прошел месяц, я жил по чужому паспорту в однокомнатной квартире, заблаговременно мною купленной на чужое имя, отрастил бородину, сменил походку...

Ее все не было. Не было ни для кого из прежней жизни и меня, и я понял, что она, наверное, никогда не вернется. От ужаса я стал приглашать женщин, но никогда не оставлял их до утра, да и редко когда что получалось с ними. Сидел, разговаривал, пугал, что убью, если какой-нибудь клофелин или еще что. Они меня боялись.

Прошло два месяца, когда, наконец, человек из аэропорта сказал мне условную фразу: «Не волнуйтесь, с вашими билетами все в порядке». Я поехал к своему дому, где жил до командировки в Штаты, и засел в «жигулях» недалеко от подъезда.

Она приехала на такси. Старуха. Ноги с трудом передвигала.

Когда зажегся в окнах свет, я поднялся на площадку и позвонил в дверь. Она открыла сразу же, зарыдала, я быстро влетел в квартиру, сказал почему-то: собирайся!

— Куда нам бежать, Петя?

— Не знаю. Здесь нельзя.

— Почему, почему нельзя?

Я объяснил почему. У ФСБ ко мне вопросы, у ЦРУ, а у меня нет ответов. Здесь нельзя.

— А где можно? Где можно нам теперь жить?

— Нигде.

Я сел на пол у стены.

— Я хочу жить миллион лет с тобой, — сказала она.

Я встал. Я хотел ее. Милу.

Она оттолкнула меня, и я подумал: нервы. Ладно. У нас еще миллион лет.

— Прости. Миллион лет нам хватит. Я сейчас уйду. Вернусь примерно через два часа. Ты отдыхай. Собери сумку вещей. Драгоценности. Документы. Что они с тобой делали?

— Меня не били.

— Кто?

— Они... Они допытывались, жив ты или нет, в сговоре со мной ты или нет? Может быть, они следят за нами.

— Они не могли тебя отпустить.

— Они отпустили, когда я попросила грин-карт. Они подумали, что раз я хочу остаться, ты, значит, подорвался со всеми.

— Нам придется уехать из Москвы. Куда-нибудь в Россию.

— Я согласна. Куда ты хочешь сейчас идти? Ночью? Не ходи! Не ездни куда!

— Не волнуйся, я быстро. Вещи только соберу на другой квартире и все.

«Вещи» мои были — деньги и автомат. Нельзя без них в Москве. По-кружившись по центру, я съездил к себе в Новогиреево, взял все, что задумал и вернулся домой на Чистые пруды.

Позвонил, но она не открыла и не отозвалась. Я нажал на дверь, и дверь подалась под рукой. Мертвея, я вошел в квартиру. Мила лежала в кроватной ванне, на полу белел лист бумаги.

«Мы встретимся через миллион лет. Ухожу. Меня убили спидом».

Через два часа я позвонил своему чеченцу и сказал, что мне нужен гранатомет. Сейчас. За любые деньги. Он ответил, что все сделает и сделает, если надо, сам. Я сказал: вези гранатомет.

Я встретил его внизу, рассчитался, он объяснил, как целиться и что нужно нажимать. На прощание я обнял его в благодарность за оружие.

Через пятнадцать минут я был на Садовом кольце. В утренней туманной перспективе вырисовывалось передо мной громадное здание посольства — туман увеличивал его размеры. Мокрый от снега флаг висел над фасадом, это означало, что посол в Москве. Я надеялся, что он не просто в Москве, а сидит сейчас в своем кабинете в ста метрах от меня. Тихонько газанув, я подъехал на расстояние ста метров. На прицельное расстояние.

Я спокойно вышел из машины, плотно, устойчиво стал, прицелился в светящееся окно на фасаде посольства. Нажал курок, и через миг граната ухнула внутри здания, вынося наружу рамы, стекла, какие-то горящие тряпки...

Я сел в машину, снял автомат с предохранителя и ждал, когда появятся морские пехотинцы США.